

“Вольность” у Радищева и у Пушкина

© А. В. ДАНОВСКИЙ,

доктор филологических наук

“Вольность” А.Н. Радищева была написана в 1781–1783 годах в честь победы американской революции, в результате которой образовались США. Гражданские свободы, завоеванные в суровой борьбе с английской метрополией гражданами новой страны, явились непосредственным поводом первой “Вольности”. Она состоит из 54-х десятистрочных строф с определенным чередованием рифм, ориентирована на классицистический канон жанра, с оглядкой, главным образом, на хвалебные оды Ломоносова. Этот канон выдержан в большинстве од XVIII века, как например, “Ода на войну с турками” (1769) “классика” официальной оды В.П. Петрова, оды великого русского поэта Г.Р. Державина “Фелица” (1783) и “Бог” (1784). Слишком большой объем радищевской “Вольности” более подходил к жанру эпической поэмы. Автор, чувствуя несовершенство своего произведения, продолжал работать над ним до 1790 года параллельно с написанием и подготовкой к печати “Путешествия из Петербурга в Москву”. Сократив оду до 50-ти строф, фрагментарно с комментариями он вставил ее в главу “Тверь”. Таким образом, посвященная зарубежному знаменательному событию ода “западника” Радищева, сформировавшего свое мировоззрение под воздействием сочинений просветителей Мабли, Гельвеция, Рейналя, Руссо и др., оказалась примененной и к российской действительности той эпохи, эпизодами из которой она подтверждалась и комментировалась.

лась. Именно этот вариант оды Радищева был известен выпускнику Царскосельского лицея в период написания его “Вольности”.

Ода Пушкина была написана в 1817 году в Петербурге, вскоре по выходе из лицея. Большое влияние на юного поэта оказал Н.И. Тургенев, тогда еще не связанный с тайным обществом. Он был предан идее освобождения крестьян, за реализацию ее готов бороться всеми средствами. В речи, произнесенной им при вступлении в литературное общество “Арзамас”, он ратовал за свободу книгопечатания, за разумную свободу граждан в своем отечестве, обличал деспотизм и пороки властителей. Пушкин в лицейских элегиях и в первых петербургских стихах воспевал любовь, а Тургенев требовал гражданских стихов. “Мне опять пишут о Пушкине как о развертывающемся таланте, — записал брат Сергей его слова в дневнике. — Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность и вместо оплакивания самого себя пусть первая его песнь будет: Свобода”.

Дом братьев Тургеневых (Александра, Николая и Сергея), у которых часто гостил юный Пушкин, находился напротив Михайловского (Инженерного) замка, где был убит Павел I. В этом доме поэт написал свою оду “Вольность”. Создавал он ее как в продолжение традиций Радищева, так и в диалоге с ним, в результате создал самостоятельное произведение, наполненное духом нового времени, иной эпохи. Если в десятистрочной строфе своей оды Радищев опирался на Ломоносова, то юный Пушкин ориентировался на оду Державина “Вельможа” (1794). Он выбрал восьмистрочную строфу, внесшую некое различие в звучание четырехстопного ямба, в котором он оказался солидарным с предшественником. Этот метр впоследствии он использовал неоднократно, в том числе и в “онегинской строфе”. Не согласился юный поэт и с объемом произведения предшественника: его “Вольность” состоит из 12-ти восьмистрочных строф и отличается более четким планом: он ограничивает количество упоминаний и событий, сосредоточиваясь на изображении двух исторических эпизодов и поэтических сентенций на их основе.

Вчитаемся в первые вступительные строфы обеих од и сопоставим их. У Радищева:

О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб я тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
В свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седай во власти да смятутся
От гласа твоего цари.

У Пушкина:

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

Перед нами две строфы, выполненные четырехстопным ямбом: десятистрочная – радищевская и восьмистрочная – пушкинская. Ямбическая просодия более выдержана во второй: в ней стих читается без фонетических препятствий. В первой ямб нарушается в стихе “В свет рабства тьму претвори”. В седьмом стихе ямб нарушается двойным ударением подряд: *свет рабства*, и получился своеобразный хориямб. Он трудно произносим еще ввиду странной группировки слов: “тьму рабства” требуется претворить [превратить] в свет! Возможно ли это?

Последовательность чередования рифм у Радищева классицистическая, ломоносовская: аж – бм – аж – бм – вж – вж – гм – дж – дж – гм. У Пушкина – иная, державинская: ам – бж – ам – бж – вм – гж – гж – вм (первые буквы обозначают смену рифм; вторые – ударность [м] и безударность [ж] окончаний).

О лексике: у Радищева особо значителен церковный славянизм *благословенный* в высоком фразеологизме “Дар небес благословенный”; у Пушкина – имя античной богини, царствующей на острове Кифера, одном из центров культа Афродиты, название которого стало одним из ее прозвищ. Антитезой любви здесь выступает *Свобода мира*, т.е. любовной элегии противопоставляется гражданская ода. Так юный автор высказывает предпочтение гражданской поэзии перед интимной любовной лирикой. Слово *Свобода* написано с заглавной буквы, чем особо подчеркнута его значительность. Пушкин как бы прогоняет от себя Музу любовной болезни и призывает Музу гражданской поэзии вдохновить его на великое дело – “воспеть Свободу миру, на тронах поразить порок”. Эвфонию он принимает эстафетой от звучания поэзии Державина. О благозвучии первой строфы в главе “Тверь” говорится: «Сию строфу обвинили ... за стих “во свет рабства тьму претвори”. Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради соития частого согласных букв, “бства тьму претв”». Замечание верное. Автор приводит и другое мнение: “...Иные почитали этот стих удачным, находя в негладкости стиха трудности самого действия” [1].

Однако можно ли неудачу фоники принять за аллитерацию? Радищев в первой строфе называет борцов за гражданскую вольность Брута, Телля, а Пушкин – лишь мифологическую Цитеру да Музу граждан-

ской поэзии, олицетворяет саму Свободу как таковую. Синтаксически первые строфы у обоих поэтов схожи обращениями: у Радищева – к отвлеченному понятию вольности с привлечением глаголов в повелительно-желательном наклонении (*позволь, исполни, претвори, да... проснутся, седай, да смятутся*); у Пушкина – к Музам Цитере-Афродите (*беги, сокройся*), Музе Свободы (*приди, сорви, разбей*). Умозрительность радищевских обращений приводит автора к надуманным, не-поэтическим строкам: от “Исполни сердце твоим жаром” до “От гласа твоего цари”. Почему *исполни*, а не *наполни*? Церковнославянизм *исполнити* – *наполнять, насыщать* для стилистической окраски речи. Поэтичен ли физиологизм: “В нем сильных мышц твоих ударом...”. Есть ли у понятия вольности *мышцы сердца*? Трудно оправдать такие фразы метафоричностью. Они воспринимаются как изощренно-рационалистические, надуманные выражения. Очевидно, что вступительная строфа в художественном отношении удалась в большей мере молодому Пушкину, чем Радищеву. Она все же свидетельствует о том, что юный поэт писал свою оду в диалоге с предшественником, дело которого он как бы продолжал, хотя и по-другому, по-своему. Следует учесть не только разницу в уровнях их поэтических талантов, но и различие в состоянии русского языка в их эпохи.

В главе “Тверь” Радищев представляет автором оды своего случайного собеседника-иностранца, направляющегося из Москвы в Петербург и сетующего на то, что в Москве ему отказали в ее публикации из-за предмета и “топорной работы” многих стихов. Высокая оценка русского языка Ломоносовым (“языка нашего небесна красота”) вполне осуществится в нашей литературе Золотого века, начало которому положено Пушкиным. Радищев тоже размышлял о путях совершенствования стихотворной русской речи, предлагая отменить рифму, потому что поиск ее препятствует свободному течению авторской мысли. Такое предположение отчасти осуществилось впоследствии (белый стих, верлибр). Размышлял он и об аллитерациях, однако с сугубо рационалистических позиций. Невозможно представить себе без рифм стихи юного Пушкина, когда он после упоминания *возвышенного галла*, видимо, одописца революции Экушара Лебрена (1729–1807), чеканит: “Питомцы ветреной Судьбы, Тираны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите, Восстаньте, падшие рабы!” (кстати, последний призыв не является призывом к восстанию, т.к. подразумевает библейское духовное воскрешение народа).

Сравним эти ясные и звучные пушкинские стихи с употреблением церковной лексики в сатирико-обличительной функции при представлении Радищевым официальной версии царского правосудия, которое “оливной ветвью венчанно”, т.е. украшено оливковыми ветвями как знаком высокого царского отличия и почета, “седай” при треугольной призме с указами Петра I на гранях, так называемом *зеркале*, с символами меча и весов: “Тут истина стрежет десную, Тут правосудие

ошую...”, т.е. справа и слева. “Покрывши разум [подданных] темнотою”, царская власть вещает: “Закон се божий”. “Религия окружила власть правителя божественным ореолом и тем самым освободила его от ответственности перед народом” [2].

Радищев не был ни крайним материалистом, ни атеистом. Его позицию можно назвать антиклерикальной, антицерковной, но не атеистической. Его мировоззрение, видимо, колебалось между деизмом – философским учением, признающим Бога творцом всего сущего, но отвергающим дальнейшее божественное вмешательство в жизнь природы и общества, и теизмом – верой в Бога и пониманием Его как абсолютной личности, создавшей мир и действующей в нем непрерывно, хотя и неявно. Замена в оде Бога народом говорит о признании автором свободной воли человека, что не снимает и Божьего судьбоносного влияния на жизнь.

Обратимся к культинационным строфам радищевской оды 21–22, если считать по известному лицеисту варианту из главы “Тверь” (22–23 – по полному тексту).

“Злодей, злодеев всей лютейший,
Превзыде зло твою главу,
Преступник изо всех первейший,
Предстань, на суд тебя зову!
Злодействы все скопил в едино,
Да не едина пройдет мимо
Тебя из казней, супостат.
В меня дерзнул острить ты жало.
Единой смерти за то мало.
Умри, умри же ты стократ!”

Великий муж, коварства полный,
Ханжа, и льстец, и святотать,
Един ты в свет столь благотворный
Пример великий мог подать.
Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил;
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы, –
Ты Карла на суде казнил.

В первой из приведенных строф передается прямая речь возмущенного царской властью народа, во второй – оценка событий английской революции от имени автора, т.е. в этих строфах – разные субъекты речи: народ и сам поэт. Эмфаза от имени народа выражена гиперболой – количественным усилением отрицательных свойств монарха, якобы присущих ему изначально и постоянно. Условный народ высказывается

крайне резко и возвышенно, с поступательной градацией используя старославянизмы, превосходную степень, глаголы в повелительном наклонении. Как примеры употребления “даже форм аориста, что, несомненно, является архаической крайностью для конца XVIII в.”, выступают в “Вольности” стихи-фразы: “*Превыде зло твою главу*”; “*Но не приспе еще година*” (второй стих из 52-й строфы несокращенного текста) [3].

Монархическая власть оценивается и автором, и народом крайне отрицательно как первейшее зло в человеческом обществе, сокрушение которого есть величайшее, несомненное благо для людей, причем крайность рационалистической экспрессии поэтического текста достигается посредством нанизывания архаических церковнославянизмов. Одностороннее преобладание выразительной функции художественной речи при дефиците эпизодов усиливает абстрактную отвлеченность данной строфы и оды в целом. В другой строфе, развернутой как рассуждение автора без изображения событий, Кромвель, с одной стороны, “великий муж”, а с другой – “ханжа, и льстец, и святотать” (*святотатец* – “похититель священных, церковных вещей”). Он мог бы подать “пример великий”, но явил себя сокрушителем свободы, став маргинальным тираном, узурпатором власти, достойным мести народа. Положительным в его деятельности оказалось лишь то, что, казнив Карла I, он научил народы мстить за себя венценосным монархам. Получилась сплошная нотация при отсутствии картин-эпизодов. Обратимся к последней, итоговой строфе радищевской “Вольности” (50-й – по сокращенной редакции; 54-й – по полному тексту).

Мне слышится уж глас природы,
Начальный глас, глас Божества;
Трясутся вечна мрака своды,
Се миг рожденью вещества.
Се медленно и в стройном чине
Грядет зиждитель наедине –
Рекл... яркий свет пустил свой луч,
И, ложный плена скиптр поправши,
Сгущенную мглу разогнаши,
Блестящий день родил из туч.

Ямбическая просодия определенно нарушена в предпоследнем стихе. 7–8-й стихи трудно произносить из-за стечения согласных в приведенных формах церковных славянизмов *рекл*, *скиптр*. По-старославянски звучит деепричастная рифма в 8–9-м стихах: *поправши* – *разогнавши*. Первое простое предложение осложнено приложениями к словосочетанию *глас природы*, представляющему группу подлежащего. Троекратное повторение слова *глас* – плеоназм (излишество), придает фразе некую напыщенность. К перлам поэзии нельзя отнести и

следующее предложение о Зиждители, грядущем “наедине... медленно и в стройном чине”. К чему здесь бюрократический фразеологизм о прохождении чинов служащими людьми? Зиждитель – это Создатель мира или закон жизни общества и природы?

Обратимся к пушкинской “Вольности”.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон – народ молчит,
Падет преступная секира...
И се – злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.

Особое напряжение создают две картины – казнь французского короля Людовика XVI и убийство заговорщиками российского императора Павла I. Каждый раз изображение эпизода завершается сентенцией. Казнь Людовика происходит при общем преступном молчании Закона и народа. Написание со строчной буквы последнего тоже является знаком неодобрения поэтом, причем большая ответственность за происходящее возложена на Закон. Здесь чувствуем какое-то подсознательное предшествование заключительной ремарки в “Борисе Годунове”: “Народ безмолствует” (1824).

В пятом стихе дана антитеза Закона и народа, который у Радищева идеализирован: представлен выразителем высшей правды. Картина изображена крупными мазками посредством простых предложений в составе бессоюзных сложносочиненных, последнее, простое – “И се злодейская порфира на галлах скованных лежит” – подводит итог, показывая результат “безмолвия” Закона и народа. “Злодейская порфира” – это власть Наполеона Бонапарта, ставшего французским императором в 1804 году. Наполеоновская тема начата лицеистом Пушкиным в оде “Воспоминания в Царском Селе” (1814); продолжена стихотворением “Наполеон на Эльбе” (1815). В них высказана отрицательная реакция юного поэта на агрессию Бонапарта против России и всего мира (“Блеснул кровавый меч в неукротимой длани Коварством, дерзостью

венчанного царя”; “В уме губителя теснились мрачны думы, Он новую в мечтах Европе цепь ковал...”). В 1821 году он так начнет стихотворение “Наполеон”: “Чудесный жребий совершился: Угас великий человек”. Эта тема продолжится в зрелой лирике великого поэта. Но в юношеской “Вольности” Наполеон для него злодей, узурпатор. По отношению же к казни Людовика соединением метафоры с символом (“Главой развенчанной приник К кровавой плахе Вероломства”) выражено сочувствие казнимому королю.

Содержание другой строфы представлено как следствие предыдущей: неразумное поведение монарха вызывает соответствующее отношение к нему. Вся строфа – гневная обличительная речь Пушкина. К кому она обращена, если казнимому французскому королю выражено сочувствие? К неразумным тиранам вообще? Или к Наполеону? Однако отношение поэта к нему не лишено серьезных противоречий. «Ненависть к Наполеону характерна для современника Отечественной войны 1812 года и ей посвящены дальнейшие стихи: “Самовластительный злодей...”». Таково авторитетное мнение Б.В. Томашевского [4]. Думается, что эту поэтическую филиппику юного Пушкина целесообразнее отнести к тиранам на троне и к власти вообще без поиска конкретного адресата обличения.

В эпизоде с устранением Павла I мотив вероломства-предательства усилен привлечением славянизмов (“Врата отверсты...”), эпитетами (*неверный* часовой, *рука предательская*, *наемная*; *бесславные* удары), риторическим восклицанием (“О стыд! о ужас наших дней!”), сравнением с перифразами (“Как звери, вторглись янычары!.. Падут бесславные удары... Погиб увенчанный злодей”). И Павел (“увенчанный злодей”), и его убийцы-заговорщики (*янычары*) представлены нарушителями Закона и поэтому подвергаются осуждению поэта. Павел I назван *Калигулой* (этот римский император, отличавшийся особой вздорностью и жестокостью, из-за чего его имя стало нарицательным, был убит заговорщиками). Такой прием является знаком осуждения убитого русского императора, гибель которого в Михайловском замке (“пустынный памятник тирана”) как бы предвещала античная Муза истории (“...Клии страшный глас”). Таким образом, если Людовик XVI сочувственно назван “мучеником ошибок славных”, то Павел лишен сочувствия поэта, хотя его убийство и порицается как нарушение Закона. В рифме 6–7 стихов 10-й строфы чувствуем, как употреблением усеченных славянизмов усилена отрицательная реакция автора на изображаемое историческое событие: “Вином и злобой упоенны, Идут убийцы потаенны...”.

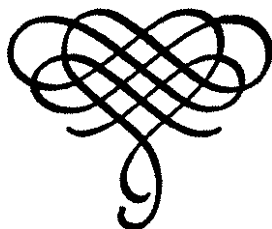
Ода Радищева более радикальна в идейном отношении, однако слабее как поэтическое произведение. Она направлена против монархии как политического устройства государства; в ней преобладает рационалистический взгляд автора на современную действительность, а рацио-

нализм и поэзия не вполне совместимы, и его произведение предстает как политическая публицистика в стихах. Ода Пушкина отстаивает конституционную монархию, в которой главенствует справедливый Закон, обязательный для всех – и властителей, и подданных. “Вольность” юного поэта значительно выше одноименного произведения его предшественника в художественном отношении.

Радищев стремился направить достижения ломоносовско-державинского классицизма на создание стиля гражданского сентиментализма, однако такой стиль еще не сложился, и автор остался в плену рационалистического подхода к поэзии как доминанты своего одического творчества. Юный Пушкин, отразив политическую программу ранних декабристов, обозначил в своей оде определенный прогресс языка и стиля, повернув достижения отечественного одического классицизма в сторону предромантизма. Однако и его ода в выражении политической рефлексии автора явилась компилятивной, хотя и блещущей поэтической одаренностью своего создателя. Пушкин с полным правом мог бы оставить в окончательном тексте “Памятника” фразу из чернового варианта: “...Вослед Радищеву восславил я Свободу”. Однако этого он не сделал, видимо, по причине иного подхода к решению проблемы.

Литература

1. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. Ода. Л., 1971. С. 166.
2. Орлов П.А. История русской литературы XVIII века. М., 1991. С. 247.
3. Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
4. Томашевский Б.В. Пушкин. Т. I. Лицей, Петербург. М., 1990. С. 150–151.



Мотив дома – “родительской сени” – в поэзии пушкинской поры

© Е. М. ЖАБИНА

“...Домашнее счастье... Едва ли это не цель и конец, к которым стремятся предприятия и труды каждого человека” [1], – писал Н.И. Гнедич. Особым образом мотив дома отразился в литературных творениях поэтов пушкинской поры.

В образе дома, представленном в стихотворениях А.А. Дельвига, запечатлены мечты поэта об идеальном мире, где царят любовь и дружба, естественность и простота в общении, полное взаимопонимание между людьми. Дом, особенно в ранней лирике Дельвига, – это прежде всего “приют семьи”, знакомый до мельчайших подробностей, горячо любимый и желанный родной очаг. Это место, находящееся в стороне от жизненных бурь и тревожений, где каждый может найти себе защиту. И по-настоящему счастлив тот, “кто за рубеж наследственных полей Ногою не шагнет, мечтой не унесется” [2] (“Тихая жизнь”, 1815). Счастлив потому, что может находить отраду в мирном, размеренном течении жизни, полной довольства и отрады в кругу самых дорогих людей. Из-за подобного представления о тихой, умиротворенной жизни в “скромном приюте” Дельвиг «был понят почти буквально: под поэтический образ “баловня беспечных муз” был подставлен жизненный его прототип – реальный поэт Дельвиг...» [3]. В стихотворении “Тихая жизнь”, воспевающим спокойное, скромное существование и довольство малым, трудами на “наследственных полях”, “доброй совестью” и любовью, последние строки свидетельствуют о том, что лирический герой – поэт и себе желает такой же “тихой жизни”:

Так жизнь и Дельвигу тихонько провести.
Умру – и скоро все забудут о поэте!
Что нужды? Я блажен, я мог себе найти
В безвестности покой и счастье в Лилете! [2]

В этом мире все подвержено могущественной силе времени, будь то небывалые подвиги полководца или блестящая слава стихотворца. Все рано или поздно поглотит река забвения. Поэтому лирический герой с беспечным равнодушием взирает на то, что его творения будут забыты потомками. Он счастлив тем, что смог вдали от суетного мира, в родных пенатах, обрести и покой, и счастье, и любовь.

Подобный идеал мирной уединенной жизни в кругу дорогих сердцу людей был близок и Е.А. Баратынскому. В стихотворении "Моя жизнь" (1818 или 1819) поэт писал:

Люблю за дружеским столом
С моей семьею домовитой
О настоящем, о былом
Поговорить душой открытой [4].

Для лирического героя Баратынского истинная семья – не просто хозяйственные, заботящиеся о материальном и нравственном благополучии и процветании дома родители и многочисленные родственники. Это прежде всего люди, объединенные не столько родственными узами, сколько родством душ, умеющие выслушать и понять друг друга, ободрить и поддержать в трудные минуты жизни. Понимая, что не всегда можно увидеть в семьях такие теплые, доверчивые отношения близких людей, поэт приравнивает их к дружеским: только истинному другу можно поведать самое сокровенное, не ожидая ни зависти, ни лести.

Небезынтересно отметить и некоторое совпадение в названии стихотворений Баратынского ("Моя жизнь") и Дельвига ("Тихая жизнь"). Употребляя личное местоимение 1-го лица (*моя, я*), Баратынский в не-принужденной форме выражает свое отношение к простым составляющим земного бытия (семья – дружба – любовь). Название стихотворения Дельвига "Тихая жизнь" более абстрактно, отвлеченно.

Лирический герой Дельвига, обретя счастье и радость в домашних пенатах, готов прожить здесь всю свою жизнь. Его не пленяют дальние путешествия, исполненные многочисленных тревог и неожиданностей, обещающие долгую разлуку с милыми сердцу людьми.

Похожие мысли звучат и в стихотворении И.И. Козлова "Сельская жизнь" (1837). Он конкретизирует все сказанное до него и Дельвигом, и Баратынским (тихая жизнь → моя жизнь → сельская жизнь): спокойной и счастливой может быть жизнь на лоне природы, в гармонии с миром птиц, цветов, деревьев, рек. И все это возможно лишь в деревне. Отсюда и название стихотворения – "Сельская жизнь". Дом для лирического героя Козлова – сладостное, милое, желанное, "заветное прадедов село", где он чувствует себя самым счастливым человеком на свете:

Не вдаль стремится он мечтою,
Не к морю мысль его летит, –
Доволен речкой небольшою:
Она светла, она шумит [5].

Размеренное, тихое течение жизни отрадно для лирического героя. Главное для него – не высокие стремления, а чистота сердца и души:

“...он умел Одной вседневной добротою Украсить бедный свой удел” [5]. В “уютном доме”, исполненном любви к подруге милой, умиротворенности, забот о ближнем, бережно хранятся “обычаи святыя”, наполняющие “жизни суету” легкой радостью, нежным светом и лучезарным счастьем. “Блаженства сердцу нет другого, Как жить одним, одно любить” [5] – восклицает лирический герой стихотворения.

Перед взором лирического героя стихотворения “Жнецы” (1836) проходит умиротворенная, благословенная жизнь жнецов, полная радости любви, “полезного труда” и сладостных минут отдыха:

... серебряный туман
Таинственной луной рассыпан по снопам,
Горит небесный свод нетленными звездами, –
Час тайный на полях, час тайный над волнами... [5]

“Приют уединенный” не мыслится И.И. Козлову без Бога, без той нерушимо вечной основы, на которой зиждется мир. Поэтому рядом с “домом уютным” появляется “божий храм”, с льющимся из-под сводов чистым, светлым небесным светом, напоминающим собой нечто легкое и нежное.

Мечты о собственном доме, тихом, уютном, согретом любовью подруги нежной, посещали и Д.В. Давыдова. Мотив дома в его лирике представлен несколько в ином аспекте, чем у других поэтов пушкинской поры. Для отважного гусара дом не ограничивается строго определенными размерами, напротив, он расширяется до огромных пределов, сравнимых с мировыми масштабами. Дом для него – это некое соединение излюбленных уголков городов и деревень, где он чувствует себя свободным, независимым, счастливым, где всегда царит веселье, шум, смех друзей, которые понимают и принимают его таким, какой он есть. Подобным домом могли стать и маленький чердачок, и богатое имение с роскошным садом, и временная квартирка друзей, и даже поле брани.

Я на чердак переселился:
Жить выше, кажется, нельзя!..
Я сам дверь важно открываю
И говорю им: дома нет!

(“Моя песня”, 1811)

Отрицание лирическим героем дома как места проживания не случайно: это и освобождает его от “толпы заимодавцев”, и от лишних забот и хлопот в его благоустройстве, так как, собираясь в очередной военный поход, еще придется оставить жилище, но он также легко сможет устроиться на новом месте. Лирического героя не смущают ни теснота, ни убогость обстановки, ведь к нему приходят и верные друзья,

и “миленькая”, разделяющие с ним и радость, и горе. Само описание домашней обстановки напоминает походную.

В нем нет зеркал, ваз, картин,
И хозяин, слава богу,
Не великий господин.
Он – гусар, и не пускает
Мишурою пыль в глаза...

(“Бурцеву. Призвание на пунш”, 1804)

Повествование в этом стихотворении построено на приеме контраста. Хозяин жилища вовсе не “великий господин”, пускающий “пыль в глаза” блеском роскошных комнат, богатым обедом, многочисленными слугами, не лживый, лицемерный дворянин, а гусар, честный, удалой и храбрый, не только на словах, но и на деле способный доказать свое мужество, отвагу, проявить незаурядную изобретательность. Прекрасные диваны, изящные вазы, зеркала из тончайшего, хрупкого стекла, специально отведенные для курения комнаты, говорящие о роскошном, богатом, праздном, но однообразном образе жизни их владельца, противопоставляются огромному кулю овса (заменяет диваны), “пяти ужасным пуншевым стаканам”, блестящей, сверкающей сабле (выполняет функцию зеркала), свидетельнице того, что ее хозяин знает о войне отнюдь не понаслышке – все это является подтверждением вольной, насыщенной, интересной жизни гусара. Поэт не приемлет однообразных, серых будней.

Не случайно обращение Давыдова к элегии Вилле “Мои договоры”. В элегии ярко выражено противопоставление, контрастность в изображении городской жизни с ее фальшивым, праздным светским миром, миром постоянных балов и маскарадов, и деревенской, естественной, открытой, истинной, гармоничной жизни на лоне природы, столь отрадной для поэта.

Огромны здания не нужны нам с тобой.
Чертог, украшенный искусною рукой,
Очаровательный, чудесный,
Не так мне нравится, как сельский домик тесный.
Но светлый и простой: я тесноту люблю:
Боюсь далеко жить от той, с кем жизнь делю! [6]

Красота позлащенного чертога меркнет в сравнении с сельским домиком, притягательным своей светлостью и простотой. Интересным представляется такое наблюдение: во многих стихотворениях Давыдова лирический герой, свободолюбивый гусар, заявляет, что ему тесно даже в огромном “пречистенском дворце”. В “Договорах”, напротив, “теснота” домика мила ему. Она манит лирического героя к упоительному наслаждению жизнью рядом с возлюбленной, в уединенном ме-

стечке на лоне природы, в тишине и покое. Простор множества роскошных комнат дворца порождает внутреннюю тесноту, скрывающуюся в душе, уставшей от постоянной, вынужденной законами света, лжи и манерности. Внешняя же теснота не имеет никакого значения, если ты внутренне свободен и искренен.

Светлыми воспоминаниями о родительском доме проникнуто и стихотворение Н.М. Языкова “Чужбина” (1823):

Там, где в блеске горделивом
Меж зеленых берегов
Волга вторит их отзывом
Песни радостных пловцов
И, как Нил – благотворитель,
На поля богатство льет, –
Там отцов моих обитель,
Там любовь моя живет! [7]

Радость и довольство, царящие в родительском доме, невозможно забыть. На чужбине, вдали от “страны родной”, лирический герой готов постоянно воспевать этот милый сердцу уголок земли. По-настоящему оценить всю его прелесть лирический герой смог только на чужбине в минуты грусти и печали: утешители – мечтанья оживляют перед его очами всю “красоту минувших дней”, даруя душе сладостное отдохновение и покой. В стихотворении Языкова родительский дом – это не только наследственный приют, но и “сень уединенья”, и “дружеский приют”, и место для наслаждения, радости, вдохновения. Свое жилище, находящееся вдали от родного дома, лирический герой называет “скучной темницей”, невеселой, темной, унылой, сковывающей внутренние порывы и стремления, не дающей проявиться чувствам, переполняющим душу, с полной силой. Родительский дом, напротив, – место для творчества (и атрибутами такого “уединения” являются “халат, рабочий стол и книги выписные” – все то, что предназначено для творческого процесса) и отдыха одновременно, место, где лирический герой чувствует себя полностью свободным и счастливым.

По-своему отразился мотив дома – “родительской сени”, “приюта семьи” в лирике Е.А. Баратынского. В вольном переводе отрывков из поэмы французского поэта Ж. Леруве “Воспоминания, или Преимущество памяти” нашли выражение и собственные философские воззрения будущего “певца Финляндии” на историю, поэзию, искусство и жизнь: “Счастлив, счастлив и тот, кому дано судьбою / От странствий отдохнуть под кровлею родною, / Увидеть милую священную страну...” (Отрывки из поэмы “Воспоминания”, 1819) [4]. Осознание всей гармонии домашнего бытия приходит не сразу. Дни, месяцы и даже годы, проведенные вдали от отеческих пенатов в долгих странствиях, помогают глубже понять и оценить всю прелесть “священной страны”, “скромной

обитатели прадедов” – близкого, милого, родного, желанного дома, в котором прошли и “безоблачное детство”, и юность с ее бесконечными стремлениями, порывами и надеждами, манящими в неопределенную даль. Обретение на склоне лет “родной сени”, тихого уединенного местечка, не случайно. Милый сердцу дом в приятной тени рощи дарует отдохновение от мирских забот, и, конечно же, таит в себе сокровища воспоминаний о минувшем, давно канувшем в быстротечные воды Леты.

Находясь на военной службе в Финляндии, поэт тосковал о “милой стране”, скучал по близким и друзьям. «Я не знавал человека, более привязанного к месту рождения; он как швейцарец, просто одержим был этой, почти неизвестной у нас болезнью, которую французы называют “тоска по родине”» [8], – писал о Баратынском его друг Н.М. Коншин. «Неудивительно, что в финских стихах Боратынского так часто встречаются воспоминания о друзьях, оставленных в Петербурге, и – что еще важнее – о его родных местах. – отмечает Е.Н. Лебедев. – Эта тяга на родину в высшей степени показательна. Тут дело не только в ностальгии. Ведь сердце юноши все еще несет на себе тяжелое нравственное бремя... Боратынскому нужно было именно внешнее оправдание: ведь внутренне он уже давно себя осудил. Однако ж свет еще не научился “разуметь сердцем”, раскаявшуюся, глубоко страдающую душу... Вот почему в поисках прочной опоры в минуту своего несчастья Боратынский обращается к родному дому, к семейному очагу, к родовым устоям...» [9]. В это время и было написано стихотворение “Я возвращаюсь к вам, поля моих отцов...” (1821). “Поля отцов”, “родимая кровля”, “дом отеческий”, “домашние иконы”, то есть все самое близкое, родное, милое, желанное, веющее теплом и уютом, заботой и добротой, – это и есть своеобразные символы истинного жизненного счастья, в отличие от пустых “призраков”, ожидающих человека, если он будет искать счастья вдали от родного “гнезда”. Лирический герой – “спокойный домосед” – мечтает о том, что в своей “безвестной хате”, скрытой от любопытных глаз “...взыскательных судей. В кругу друзей своих, в кругу семьи своей”, он будет “издали глядеть на бури света” [4]. “Отеческий дом” предстает в сознании поэта символом безмятежного спокойствия и счастья, своеобразной преемственности поколений. Любовь к “мирному труду” подвигает лирического героя “возделывать отеческое поле”: “у берега насадить лесок уединенный”, “и липу свежую, и тополь осребренный”. Когда-нибудь через много-много лет, также пресытившись жизнью света, устав от бесконечных странствий, в тени их сможет отдохнуть “правнук молодой”. Уже сама по себе эта забота о счастье другого человека исполнена доброты и любви. Не случайна ассоциация образа дома с кругом (“круг друзей”, “круг семьи”): в отношениях друзей, родственников чувствуется некая взаимосвязь, неразделимость, общность идей и взглядов на мир. Поэтому дом, как и круг, становится чем-то совершенным, построенным на согласии любви и дружбы. Дом, подобный кругу символизирует веч-

ную жизнь ее обитателей, память о добрых делах которых свято будет храниться в сердцах последующих поколений.

Образ дома – “хранительного крова”, оберегающего, защищающего, ограждающего от горя и бед, печалей и несчастий, встречающихся на жизненном пути, появляется в стихотворении Е.А. Баратынского “Стансы” (1827):

Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь...

Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще –
Приют младенческих годов...

Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один [4].

Смысловой ряд эпитетов: *скромный* дом – *хранительный* кров – *святая* сень – наиболее ярко отражает представление поэта о том, каким должен быть “приют семьи”. Тихое, уединенное, простое жилище (“скромный дом”) становится своеобразной защитой и помощью на нелегкой жизненной стезе (“хранительный кров”) и, наконец, все это, сливаясь в одно единое целое, оказывается самым дорогим, любовью хранимым, почитаемым, проникнутым божественной милостью и благодатью, почти идеальным домашним мирком (“святая сень”).

Итак, в определении мотива дома – “родительская сень”, “отчий кров”, “приют семьи” – заключается все то, что предполагает теплые отношения между родными, заботу и любовь, доброту и защиту от невзгод – все самое близкое и дорогое для человека.

Литература

1. Гнедич Н.И. Стихотворения. Поэмы. М., 1984.
2. Дельвиг А.А. Сочинения. Л., 1986.
3. Дельвиг А.А. Стихотворения. М.- Л., 1963.
4. Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. Л., 1989.
5. Козлов И.И. Полное собрание стихотворений. Л., 1960.
6. Давыдов Д.В. Стихотворения. Проза. М., 1987.
7. Языков Н.М. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 59–60, 168.
8. Песков А.М. Боратынский: Истинная повесть. М., 1990.
9. Лебедев Е.Н. Тризна: Книга о Е.А. Боратынском. М., 1985.



Уловки Иудушки в диалогах с родственниками

© В. В. ФРОЛОВА

Уловку можно определить как прием, направленный на достижение серьезных целей и преодоление серьезных препятствий непрямым путем. Она может использоваться и для достижения собственной цели, и для уклонения от исполнения чужой воли в ситуации соперничества, и в отстаивании интересов. Пример такой ситуации представляют реплики Иудушки в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина “Господа Головлевы”.

В разговоре с Ариной Петровной Иудушка преследует цель повлиять на решение матери и не отдать брату законное наследство. Как истинный кровопивец, он не приступает к делу *прямо*, а начинает с *окolicностей*, использует прием маскировки истинных намерений: в ненавязчивой форме (“если позволите выразить свое мнение”) обобщенного рассуждения (“Что такое дети?”) и эристического аргумента к авторитету (“не имею права, вы – мать”) уклоняется от суда над братом.

Создать благоприятный эмоциональный фон, расположить к себе Арину Петровну помогают лести и угодничество: *великолепно, великодушно, святотатство* (эмоционально-оценочная, книжная лексика), *друг мой, маменька, голубушка, паинька* (экспрессивные обращения, семантика суффиксов): “Вы говорите: судите меня с ним! *Это великодушно, милая маменька, веллли-ко-лепно!* Но можем ли мы без страха даже подумать об этом, мы, от первого дня рождения облагодетельствованные вами с головы до ног? *Воля ваша, но это будет святотатство...*” (Курсив здесь и далее наш. – В.Ф.)

Побуждая мать изменить решение, Иудушка льстит с уничижением (“нет во мне этого великодушия”) и ложной патетикой (*веллли-ко-лепно* – утрирование произношения) акцентирует негативную оценку поступка: “Маменька! – воскликнул он, – *вы больше, чем великодушны!* Вы видите перед собой поступок... ну *самый низкий, черный поступок...* и вдруг все забыто, все прощено! *Веллли-ко-лепно. Может быть, во мне нет этого великодушия... этого, так сказать, материнского чувства...*”

Иудушка скрыто проводит истинное намерение: конструирует подозрения (“а что ежели... как-то сдастся”) в ненавязчивой форме опасения (“боюсь я за вас”), высказывания мнения (“я бы так не поступил”);

создает негативный образ Степана (“по свойственной ему испорченности”, “поступит точно также”, “наглый ведь”), усиливает негативную характеристику категоричностью утверждения, повторами (“к вам ведь придет, и все-таки придет, промотает”) лестью (“голубушка маменька”): “— *Но извините меня... боюсь я, голубушка, за вас! Как хотите меня судите, на вашем месте... я бы так не поступил! Но все как-то сдается: а что, ежели Степан, по свойственной ему испорченности, и с эти вторым вашим родительским благословением поступит точно также, как и с первым? Промотает он, голубушка! Дом промотал — и деревню промотает!* — А промотает, так пусть на себя и пеняет! — *К вам же ведь тогда придет!* — Ну нет, это дудки! И на порог к себе его не пушу!.. — *И все-таки к вам придет. Наглый ведь он, голубушка маменька!*”

Развеять подозрения матери помогает лесть, эристический аргумент к стыду (“не грех вам предполагать во мне такие черные мысли”), ложная патетика (междометия, восклицания); создание собственного положительного образа (“я бедному с большей радостью помогу”), угодничество (“позвольте брату подарить”).

“Ах, маменька, маменька! *И не грех это вам! Ах-ах-ах!* Я говорю: как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет — *а вы... ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете!*.. Маменька! *Да неужто ж вы на нас, ваших детей, не надеетесь? В таких ли мы правилах вами были воспитаны?*”.

В диалоге с сыном Иудушка уклоняется от дачи денег: изображает притворное непонимание (“что ж, внеси... твоих источников не знаю”); уходит от ответственности (“надо выйти, как — не мое дело... другой вопрос... это до меня не касается... любишь кататься — люби и саночки возить”); акцентирует негативную оценку поступка (“в грязные дела не впутывай”), пытается прекратить разговор сменой темы (“пойдем чайку попьем, поговорим об чем-нибудь”); взывает к стыду (“не годится старушку заставлять ждать”); побуждает уехать (“и с богом”): “— Нет, нет, нет! Не хочу я твои пошлости слушать! Да и вообще — довольно. Что надо было высказать, то ты высказал. *Я тоже ответ тебе дал. А теперь пойдем и будем чай пить.* Посидим да поговорим, потом поедим, выпьем на прощанье — *и с богом. Видишь, как бог для тебя милостив! И погодка унялась, и дорожка поглаже стала.* Полегоньку да помаленьку, трюх да трюх — и не увидишь, как доплетешься до станции!”.

В продолжение диалога, который происходит при Арине Петровне, цель Иудушки — не признать вину в смерти сына Володи, уйти от разговора с помощью аргументации к здравому смыслу (“за добра ума уехал бы”), к стыду (“посовестился бы”); изображением мнимого непонимания (“не понимаю, видит бог, не понимаю... кто ж его убил”); толкованием обвинения Пети буквально (“как мог я его за семьсот верст убить”), а не в значении “послужил причиной”: “*Я?! А по-моему, это не*

так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он – в Петербурге. При чем же я тут мог быть? Как мог я его за семьсот верст убить?”

Отказ признать вину, желание переложить ответственность на сына звучит в его рассуждении о тонком различении значений “позволять” – “препятствовать не могу”: *“– Я сказал: не могу препятствовать – только и всего. А позволяю или не позволяю – это другой вопрос”. – Только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и писали; не нравится, дескать, мне твое намерение... По крайней мере, тогда было бы ясно”*.

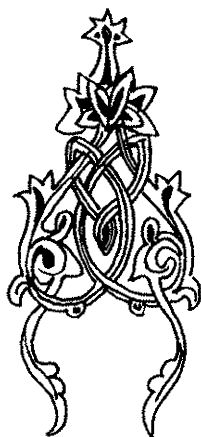
Иудушка пытается прекратить разговор выведением “удобного” заключения: *“Сам должен был предусматривать... А я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь, да не прошу, чтоб и другие в мои дела вмешивались. Да, не прошу, не прошу, не прошу и даже... запрещаю!”*.

Он пускает в ход аргумент к авторитету: *“– С отцом не объясняются-с. У отца прощения просят – вот и все. – И это было. Он так был измучен, что и прощенья просил. Все было, все! – А хоть бы и так – опять-таки он не прав. Попросил прощенья, видит, что папа не прощает, – и в другой раз попроси!”*.

Анализ диалогов показывает, что для достижения своей цели Иудушка активно использует разнообразные уловки, в которых проявляются особенности его характера и поведения, о которых другие персонажи романа говорят так: *окружил кругом; опутал; начал с того: как вам будет угодно, а под конец заставил под свою дудку плясать*.

Они сетуют на подхалимство Иудушки: *любил приласкаться; понаوشيничать; украдкой поцеловать в плечико; разошелся соловьем; таким умильным голосом, словно собирался брюшко пощекотать; хвостом лебезит*.

В романе его называют лгуном и пустословом: *много у вас на языке слов; по своему обыкновению поступили... у вас ведь каждое слово деять значений имеет – поди угадывай; ни одного слова верного нет*.



Звукопись в сказочной прозе А.М. Ремизова

© Г. Ю. ЗАВГОРОДНЯЯ,
кандидат филологических наук

А.М. Ремизов неоднократно подчеркивал важность в своем творчестве “звучания” слов, фраз: “Слово из чувства, мысли – не обрывок, а звучащая фраза. <...> Надо записывать тотчас зазвучавшую фразу, по ней потом все оживет, она никогда не заглохнет” [1]. Попробуем проследить, каким образом использование звукописи в прозе Ремизова способствует созданию дополнительной образности.

Весьма часто в одном или в соседних предложениях в его сказочной прозе встречаются слова со сходным звуковым комплексом. Благодаря этому достигается эффект сближения далеких по смыслу слов. Характерный пример тому – фрагмент сказки “Гуси-лебеди”: “Попросились гуси у матери *в поле полетать*”. При прочтении последнего словосочетания в сознании происходит невольное переразложение морфем, что способствует восприятию этих слов как однокоренных. Однако гораздо чаще Ремизов использует звукопись на более обширных участках текста.

В зависимости от объема текста и от количества повторяемых звуковых комплексов можно выделить несколько функций повторов, которые, тем не менее, восходят к одной главной: формированию внутри произведения особого поэтического содержания. Так, один из наиболее часто употребляемых видов повтора – повтор одного (реже – двух) звуков в пределах одного-двух предложений. Можно привести массу примеров подобного рода звукописи: “А где-то за темною топью конь ко-

лотит копытом" ("Бабье лето") [2]; "Катили у погостов погребальные сани" ("Купальские огни"); "Последняя отлетная птичка прилетела до витого гнездышка. Зацвели белые и алые маки" ("Черный петух"); "Ковал кузнец Кузьма-Демьян вековой венки" ("Воробьиная ночь"). (Курсив здесь и далее наш. — Г.З.)

Для Ремизова очень важно "звучание" фразы, восприятие ее на слух. Не случайно определенный звук (или звуки) повторяется в сочетании с соответствующим графическим оформлением — написанием каждой фразы с красной строки. Данный прием способствует большей автономности, благодаря этому фраза становится чем-то вроде самоценного, законченного произведения. За счет подобной автономии все произведение в целом также обогащается дополнительными смыслами, и это вновь говорит о сближении ремизовской малой прозы с поэзией на внутренне-содержательном уровне. Усложненный вариант этого повтора — параллельный повтор нескольких звуков: "В белом на белом коне в венке из зеленой озыми едет по полю Егорий и сыплет и сеет с рукава бел жемчуг" ("Бабье лето"); "А ветер шумел и бесился, свистел свистень, сек тучи, стрекотал звезду о звезду, заволакивал темно, гнул угрюмо, уныло густой сад, как сухую былинку, и колотил прутья о прутья" ("Ночь темная").

Очевидно, что выделенные звуки во втором примере вызывают ассоциации со свистом ветра и способствуют созданию атмосферы тревожной ночи не только на лексическом, но и на фонетико-ассоциативном уровне, дополняют картину, придавая отрывку особую звучность.

Эксперименты А.М. Ремизова в области звукописи необычайно разнообразны; можно выделить также такой прием, как "композиционный стык", основанный на звукописи:

"Шумный колос стелет по ниве сухое время.

На проходе страда. Подоспели дождинки. Дожинают и веют сноп" ("Борода").

Каждое предложение обладает своим звуковым комплексом, однако в последнем слове появляется звук (звуки), повторяющийся затем в начале следующей фразы. Подобное, весьма оригинальное, использование звукописи встречается, с некоторыми вариациями, и в других произведениях писателя:

"У Филиппа дух захватило—

сложил Филипп руки крестом,

Прости, — говорит, — ты меня, Никола..."

("Николин завет") [3].

Об особой функции звукового повтора можно говорить, когда подобное явление прослеживается на протяжении целого произведения. В этом случае возникающие ассоциации намного богаче, так как соотносятся не с конкретным эпизодом, а с общим замыслом. Примером может служить сказка "Купальские огни", описывающая бесовское

действие накануне Ивана Купалы. Сюжет здесь значительно ослаблен, а описание имеет импрессионистический характер. Как и во многих рассматриваемых произведениях Ремизова, сюжет не является в данном случае самоцелью, содержание развивается по особым, поэтическим, принципам, и звукопись играет при этом одну из первых ролей. Описания сцен с участием нечистой силы перемежаются с описаниями Купальской ночи, причем чаще всего укладываются в одно предложение:

“Теплыми звездами опрокинулась над землей чарая купальская ночь.

Плавали по полю воздушные корабли.

Купальская ночь колыхала теплыми звездами, лелеяла”.

Такое лаконичное описание в то же время представляет огромные возможности для читательской фантазии и интуиции. Повторяющийся звук *л* проходит своеобразным лейтмотивом: “плавали по полю”, “колыхала”, “теплыми”, “лелеяла”. Сонанты вообще любимы Ремизовым, из-за своей звучности и близости к гласным, они придают его прозе особую гармонию и мелодичность. В данном случае обилие звуков *л* в названных глаголах сближает их с эпитетом *купальская* и создает особый образ, как бы пронизывающий все произведение – именно на него смещается акцент восприятия.

Аналогична функция звукового повтора в притче “Николин завет”. Фразы “За землю всякому пострадать надо” и “Крестом сложены руки”, повторяясь всякий раз в несколько измененном виде (всякое изменение – значимо), приобретают новые, дополнительные оттенки, и это приращение смысла развивается во многом за счет сближения понятий на фонетическом уровне. Так, слово “пострадать” дважды употреблено в контексте со словом “родимая”. Нетрудно вычленил общий звуковой комплекс – *р, д*. В то же время со словом “пострадать” связывается слово из параллельного повтора – “крестом” на основе общности звуков – *с, т, р*. Таким образом, благодаря подобной искусной звукописи происходит взаимопроникивание семантических полей слов, создается впечатление появления некоей окказиональной морфемы, объединяющей и, соответственно, вбирающей смыслы этих слов.

Стоит обратить внимание и на сам характер звуков – здесь уже нет “лелеющего” *л*, как в сказке “Купальские огни”, притча повествует о страданиях, а не о гармонии и покое. Несмотря на приверженность Ремизова к “мелодичным” согласным, порой само содержание произведения требует иной звуковой формы. Примером тому может служить сказка “Корочун”, где повторяющийся *р, с* одной стороны, создает ассоциативное поле вокруг центрального образа:

“Царствует дед Корочун.

Коротит дни Корочун, дней не видать,
только вечер и ночь.

Звонкие крепкие ночи.

Звездные ночи, яркие, все видно в поле”.

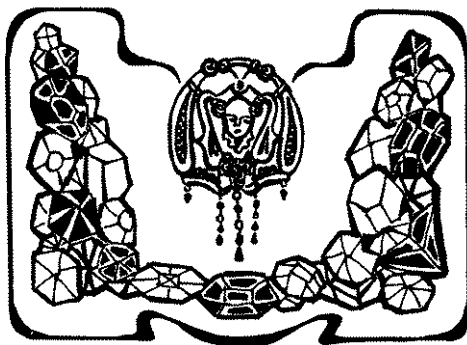
С другой стороны, сам характер раскатистого звука способствует созданию сказочного образа Корочуна.

Поистине уникальным произведением с точки зрения звуковых повторов является первая притча – своеобразное вступление – в цикле “Николины притчи” – “Теплая пламень”. По замыслу автора она, вероятно, призвана вобрать в себя и объединить все темы цикла. В этой небольшой зарисовке Ремизов использует целый ряд поэтических приемов: это и эллипсис, и инверсия, и особое графическое оформление, и, конечно, различные виды повторов, в том числе и звуковых. Так, звук *с*, повторяясь практически в каждом слове притчи, сближает огромное количество понятий, за счет этих ассоциативных связей возникает впечатление сокровенности. Ограничимся небольшим примером: “Кто не услышит сокровенного слова о суде, судьбе и доле, тот и по складу сказки примет от слова теплую пламень и осияет сердцем”.

Звуковые повторы, таким образом, играют стилиобразующую роль в рассказах Ремизова; причем частные функции данного приема сводятся к одной общей, а именно – к формированию в прозаическом произведении, небольшом по объему, особого дополнительного смысла. Такой смысл не вытекает напрямую из повествовательного сюжета, но воспринимается на уровне ассоциативном.

Литература

1. Ремизов А.М. Царевна Мымра. Тула, 1992. С. 387.
2. Ремизов А.М. Собрание сочинений. Т. 2. Докука и балагурье. М., 2000.
3. Ремизов А.М. Сочинения. Кн. 1. Звенигород окликанный. М., 1993.



“Мир минеральный” в “Москве” Андрея Белого

© Я. А. ШУЛОВА,
кандидат филологических наук

Наряду “с животным, растительным царствами” А. Белого также привлекало *общение* с миром минеральным [1]. Этот мир занимает особое место в цикле романов “Москва”.

В “Московском чуде” и “Москве под ударом” самоцветы – часть интерьера, дорогие безделушки, говорящие о богатстве и изысканном вкусе их владельца – коммерсанта-афериста Мандро. Его роскошную, похожую на лабиринт квартиру в стиле модерн украшает драгоценный камень-фонарь причудливой формы: “с потолка повисает лампада сияющим камнем”.

На расписном подносе – “пепельница халцедонная с прожилками”. Другая пепельница – “черной яшмы (лидейского камня)”.

В этом же ряду – алебастровый столбик, стеклянные фужеры “зеленый, златистый и розовый”, хрусталь, серебряный холодильник. В гостиной вазочка с мелкими ониксами, с которыми любит играть Лизаша, дочь Мандро: “... и рассыпала из вазочки горсточку матовых камушков: малых ониксов”.

Свой перстень Мандро выдает за масонский: “массивный финифтевый перстень рубином стрельнул”. Личная печать “азиата” Мандро из полудрагоценного камня, столь любимого на Востоке: “Эдуард Эдуардович взял со стола сердоликовую вырезную печать: и печать приложил к документу”.

На заседании общества Свободной эстетики дамы усыпаны драгоценностями: “белоснежные руки ее, как в слезах, в бриллиантах; казалось, что платье... из серебра из живого, с изысканной выточью...”. Или гротескный образ роковой женщины, восточной красавицы: “Иң-

дианц, Мариэтта Евгеньевна... брошь с агатами; платье из желтого канфа, глаза, налитые экстазом (ресницы же прочерню), губы – с подкрасом; вплела себе в волосы целый бирюзник...”.

Бирюзник – неологизм, образованный от слова *бирюза*. Этот словообразовательный тип весьма продуктивен в творчестве Белого: “Эта девочка, – просто какой-то бирюзник”, – говорит Мандро о Лизаше.

“Бирюзник” пришел из “Крещеного китайца”: “Под очками сверкнул два бирюзника: папины глазки”.

По этому же словообразовательному типу создано слово “алмазник” для изображения в цвете и блеске городского зимнего пейзажа ночью: “Не улица – ясный алмазник”. Неологизм “алмазник” выражает восхищение, восторг автора перед ликом “великого города” зимней ночью и создает необычный зрительный световой образ.

В обрисовке городского ночного пейзажа Белый использует также янтарь: “в сине-сером проходе – блестящая, парная цепь фонарей-янтарей”.

Ночью первопрестольная богато расцвечена витринами роскошных магазинов, в том числе ювелирных. У окна с драгоценными камнями любил останавливаться знаменитый российский ученый – геолог А.Е. Ферсман, очарованный красотой изумительных произведений природы и открывающий, глядя на них, “глубочайшие тайны земли” [2. С. 44].

В книге “Занимательная минералогия”, выдержавшей четыре издания (1928, 1929, 1933, 1935) при жизни автора, А. Е. Ферсман признавался: “Не скрою, я люблю останавливаться у витрины с драгоценностями: при виде пестрых и ярких камней в свете электрических фонарей, я забываю о тщеславии и роскоши, для которой они предназначены, не думая о том, сколько денег скрывается иногда в блестящем самоцвете... Вот сверкают ожерелья прекрасно ограненных бриллиантов – как капли воды, чистые, с пестрыми переливами, немного холодные капли горячей Индии, пустынной Африки и тропических зарослей Бразилии... А вот в кольце ярко-красный камень...” [2. С. 44, 45, 47]. Эти слова перекликаются в “Московском чуде” с красочным зрелищем витрины пассажи. Белый, как и А.Е. Ферсман (сказалось изучение минералогии и кристаллографии), неистощим в описании многоцветной гаммы оттенков, тонов, световых эффектов: “сияющий выливень камушков: ясный рубин, желтоливный берилл, альмантин цвета рома и сеть изумрудиков; словом – рулада разграненных блесков; и липла толпа, наблюдая, как красенью вспыхнет, как выблеснет зеленью: вздрогнет: и – дышит”.

Просветление, нравственное преображение и чувство духовного родства со всеми людьми символизирует огнецветный небесный ландшафт: “Закат, как индийский топаз и как желтый пылающий яхонт, разъялся, когда Митя вышел с любовью – с томительной – к правде возженной”. Митя умиляется даже красными глазами *синеносого пропо-*

ицы. Они сравниваются с драгоценными камнями: "...Взглянул под картузик, – и ахнул: глаза-то, глаза-то! Как ясные яхонты, вспыхнули! Взять да обнять".

Вот как описывает А. Белый взгляд Лизаши, пораженный тем, что она узнает о своем отце: "с кругами огромными вокруг – не двух глаз: бриллиантов, стреляющих молнией; иль нет; ... показалось бы, что соблеснулись звезды – в Плеяды; Плеяды – вы помните?

Летом поднимутся в небо: пора!".

Человек – драгоценный камень – космос – тождественны.

Чтобы показать изысканную красоту пейзажа, А. Белый прибегает к образу самоцвета: "...над купами месяц, свое новолуние спрыснув, твердится сквозным халцедоном из мутно-сиреневой тверди.

Москва!

Да, – она!"

Литература

1. *Белый А.* Москва. М., 1989.

2. *Ферсман А.Е.* Занимательная минералогия. Изд. 4-е. Л., 1935.

Вологда



Время в поэзии Николая Гумилева

© Е. В. ВЕРХОЛОМОВА

Сложным было “ощущение времени” в поэтическом языке Н. Гумилева.

В книге “Путь конквистадоров” (1905) мотив молодости, устремленности в будущее (стихотворения “Я конквистадор в панцире железном”, “На мотивы Грига”, “Иногда я бываю печален”, “По стенам опустевшего дома” и другие) подчеркивают глаголы настоящего времени. Два типа художественного времени из этой книги – “настоящее продолженное” и “настоящее повторяющееся” можно проиллюстрировать началом первого стихотворения:

Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду. <...>
И верю, я любовь свою найду.

В книге “Романтические цветы” (1908), напротив, почти во всех произведениях действие происходит в прошедшем времени, что соответствует концепции цикла: лирический герой живет прошлым, его интересуют древние сказания, старинные легенды и мифы, а также свои давние сны (стихотворения “Баллада”, “Оссиан”, “Смерть”, “Мечты”, “Заклинание”, “Ягуар”, “Ужас”, “Основатели”, “Морепоплаватель Павзаний”, “Неоромантическая сказка” и др.). По своему семантическому оттенку это время можно назвать “ценное прошедшее”:

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил нездешние слова,
Перед ней, царицей беззаконий,
Расточал рубины волшебства.

Таких стихотворений большинство в книге, немногочисленные исключения составляют “Воспоминание”, “Помпей у пиратов” и “Каракалла”, в которых лирическая ситуация как бы замерла и из нее нет выхода. Стихотворение “Пещера сна” описывает ситуацию устремленности в будущее, намерения, которые герой собирается осуществить (в дальнейшем мы будем характеризовать эту временную категорию как “будущее-призыв”). Эти стихотворения-исключения словно бы отсылают читателя обратно к книге “Путь конквистадоров”, показывая преемственность двух лирических циклов.

Сложное развитие тема времени получила в книге “Жемчуга” (1910). О быстротечности времени, о его давно прошедших мгновениях жалеет герой стихотворения “Ты помнишь...”:

И мы до сих пор не забыли,
Хоть нам и дано забывать
То время, когда мы любили,
Когда мы умели летать.

Это блаженное время – райское, время до грехопадения. Ощущение гармонии человека с миром, внутреннее понимание связей между всем существующим дано не всем, а лишь избранныкам Божиим. Чаще всего состояние гармонии со временем человек испытывает в детстве и в юности. М. Цветаева, например, в молодости чувствовала *блаженство* от своей причастности к пространственно-временной системе Земли.

Эта гармония человека со временем существует, пока в его сознании не произошло отделение себя от объективного мира, пока он не изведает личные и социальные катаклизмы, пока не возникла в его голове мысль о неизбежности смерти, пока не осознал он свои одиночество и незащищенность в мире.

Дон-Жуан из одноименного стихотворения сначала хотел “обмануть медлительное время, всегда лобзая новые уста”, но после испытал потребность замолить грехи молодости уходом в монастырь. Герой понимает, что сокровенное время упущено, и в итоге он осознает себя “не-нужным атомом”.

Стихотворение “Андрогин”, в отличие от многих других из книги “Жемчуга”, устремлено в будущее, это дерзкий призыв преодолеть законы плоти, чтобы бытие вышло на новый уровень: “пусть двое погибнут, чтоб ожил один”.

В книге есть еще одно стихотворение с семантикой “будущее-призыв” – это “Путешествие в Китай”: “Только в Китае мы якорь бросим, Хоть на пути и встретим смерть”. Оно является как бы мостиком в творческое будущее поэта – лирический цикл “Фарфоровый павильон”.

В стихотворении “Роща пальм” поэт размышляет о возможности человеческой волей преодолеть земную смерть: “И чего еще ты хочешь, сердце? <...> Разве ты не властно жить, как травы, В этом упоительном саду?”

Восприятие времени поэтами Серебряного века в некоторых случаях приобретает сходство с философией экзистенциализма, гласящей, что “человек не должен убегать от сознания своей смертности” [1]. Почти все поэты Серебряного века встали перед проблемой жизни как дороги к смерти и отразили ее в своих стихах. Вопрос о бренности земного существования они решали через противопоставление земного времени, времени космическому, в котором происходит высвобождение Духа для бытия на новом уровне. Существование человека в пространстве и времени в лирике поэтов Серебряного века рисуется довольно мрачно: “Про-

странством и временем задавил нас тяжелый рок. Но в духе преодолели мы все пространство и в духе преодолели мы все времена..." [2].

Квинтэссенцией сложных взаимоотношений поэта и времени в книге "Жемчуга" мы можем считать строки из стихотворения "Молитва":

Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее!

Книга "Чужое небо" (1912) Н. Гумилевым была задумана состоящей из двух частей. Это деление подчеркивают и разные временные категории, использованные в каждой из них. В первой части для всех стихотворений используются глаголы в настоящем времени (традиция сборника "Путь конквистадоров"). Эта преемственность подчеркивается и на тематическом уровне: использование образов розы (стихотворение "Две розы"), путника и дороги ("Девушке", "Вечное"), водной стихии ("На море", "Константинополь", "Сонет"). Вторая часть подводит итоги романтическим скитаниям: "Все, что свершить возможно человеку, Он совершил – и он увидит Мекку" ("Паломник").

В стихотворениях второй части содержатся размышления о сущности времени, о временных градациях вчера-сегодня-завтра:

И буду плакать долго, долго,
Припоминая вечера,
Когда не мучило "вчера"
И не томили цепи долга.
(“Ослепительное”)

Летающей горою за мною несется Вчера,
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна,
Иду... Но когда-нибудь в Бездну сорвется Гора,
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.
(“Я верил, я думал...”)

Книга стихов "Колчан" (1916) была написана во время пребывания поэта на фронте, вероятно, поэтому в стихах, посвященных военным событиям, действие происходит в настоящем времени ("Война", "Наступление", "Смерть"). К этой группе примыкают такие стихотворения, как "Пиза", "Птица", "Я вежлив с жизнью современной", "Я не прожил, я протомился". По своему идейному содержанию они напоминают стихотворения-размышления из книги "Чужое небо". Герой осмысляет себя в настоящем, которое враждебно, отягощено "былым, темным бременем". Время для него "мстящее". Он "не смеет больше молиться", он собирается как-нибудь "дотянуть" свою жизнь, а о вечной жизни пусть позаботятся высшие силы.

Ощущение времени лирическим героем точно передают стихотворения "Возвращение" и "Солнце духа". В первом из них время, в течение которого длится сакральный путь в Китай (как и стихотворение

“Китайская девушка”, это еще один “мостик” к книге “Фарфоровый павильон”), воспринимается двояко:

Порою казалось – идем мы годы,
Казалось порою – лишь день один.

Во втором стихотворении “Солнце духа” настоящее характеризует-ся как “лето”, после которого неизбежно наступит “осень”:

Чувствую, что скоро осень будет
Солнечные кончатся труды
И от древа духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.

Эта “осень” наступает уже в следующей книге – “Костер” (1918):

Оранжево-красное небо...
Порывистый ветер качает
Кровавую гроздь рябины.
 (“Осень”)

Путь героя в этой книге – от детской веры к натурфилософскому и религиозному знанию:

И я верил, что я умру
Не один – с моими друзьями,
С мать-и-мачехой, с лопухом...
 (“Детство”)

Я твердо, я так сладко знаю
С искусством иноков знаком,
Что лик жены подобен раю,
Обетованному Творцом.
 (“Андрей Рублев”)

Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни.
 (“Деревья”)

Для героя становится важен мотив памяти, помогающий воспринимать настоящее через призму прошлого. Первоосновой всего сущего является та самая первая жизнь, потерянная навсегда. В этой попытке обмануть настоящее стихотворение “Прапамять” из книги “Костер” закладывает сложную идейную структуру стихотворения “Память” из книги “Огненный столп”: “Память, ты рукою великанши Жизнь ведешь, как под уздцы коня...”.

Отдельного внимания требует так называемый “скандинавский цикл” в книге “Костер” – это стихотворения-монологи (в настоящем времени) “Швеция”, “Норвежские горы”, “На Северном море” и “Стокгольм”. В книге “Поэтическая география Н. Гумилева” справедливо за-

мечено, что поэта всегда интересовала скандинавская культура как одна из составляющих русской культуры в свете гипотезы о кельтских корнях довлاديمирского христианства древних русичей [3. С. 31]. Кроме того, для него были важны апокрифические представления о рае как о стране, находящейся на северных землях, и слова английского поэта У.-Б. Йейтса: "В Ирландии этот мир и тот, куда мы отправляемся после смерти, совсем недалеко друг от друга" [4]. Гумилев полагал, что спасти Русь могут, как и много веков назад, северяне.

Уже упоминавшаяся книга "Фарфоровый павильон" (1918) зрела в творческом сознании поэта давно, поэтому так много стихотворений-предвестников в предыдущих сборниках. Эта книга воплощает собою вечное настоящее (настоящее продолженное), застывшее время, выраженное в картинках-миниатюрах из жизни Древнего Китая. При этом каждая из зарисовок выходит за грани простой описательности и несет в себе сложный подтекст восточной философии. В некоторых случаях это игра со временем, с переменной мест первопричин и следствий: "Мне думать весело, что вечная Природа учится у нас".

Книгу "Шатер" (1918, напечатана в 1921) недоброжелатели, не хотевшие видеть глубину философской мысли, называли "учебником географии в стихах". Действительно, поверхностный взгляд видит лишь поэтические зарисовки об африканских странах (то в настоящем, то в прошедшем времени), однако взгляд поэта обращен глубже, уже не только к захватывающему прошлому и суровому настоящему, а пронизывает насквозь временную толщу лет, производя сверхвременной и сверхпространственный срез: "Не прикован я к нашему веку, Если вижу сквозь бездну времен" ("Египет").

Эти строки, предвестники сложной временной концепции стихотворения "Заблудившийся трамвай", не случайно помещены в стихотворение, посвященное Абиссинии. Эта страна (современная Эфиопия) была окружена в начале XX века значительным историко-культурным ореолом. К тому времени уже сформировался "абиссинский миф", и в произведениях Гумилева культуроним Абиссинии стал одним из центральных и наиболее значимых для символики и образности "африканских" его текстов [3. С. 92].

В наиболее концентрированном виде все авторские достижения в изображении времени получили свое отражение в книге "Огненный столп" (1921). В стихотворении "Память" последняя строфа выражает устремленность в будущее: "Крикну я ... но разве кто поможет, Чтоб моя душа не умерла?". Стихотворение "Слово" построено на антитезе: святое прошлое с ценностью сакрального слова ("Солнце оставливали словом, Словом разрушали города") противопоставляется настоящему, в котором главенствуют числа, а слово низведено до уровня стертого штампа.

В стихотворении "Канцона первая" дается замкнутый временной круг: "В этот час я родился, В этот час и умру".

В “Канцоне второй” маятник – палач времени:

Маятник старательный и грубый,
Времени непризнанный жених,
Заговорщицам секундам рубит
Головы хорошенькие их.

Благодаря трехчастной структуре в стихотворении “Заблудившийся трамвай” создается целостная модель человеческой жизни; события в прошлом описываются глаголами в прошедшем времени. (Курсив наш. – Е.В.).

Шел по улице я незнакомой
И вдруг услышал вороний гай,
И звоны лютни, и дальние громы, –
Передо мною летел трамвай.

В шестой строфе появляется настоящее время:

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое *стучит* в ответ:
“*Видишь* вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?”

Будущее появляется в последних строках 14 строфы:

Там *отслужу* я молебен о здравье
Машеньки и панихиду по мне.

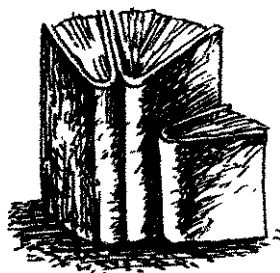
По мнению А.И. Павловского, в этом стихотворении поэт размышляет о жизни как о “вечной метаморфозе” и проводит “мысль о единовременном существовании в душе человека (его “прапамяти”) разных времен и пространств. Трамвай несется через Неву, Сену, Нил в “Индию Духа”, на его пути встречаются люди разных времен и рас. Исследователь выдвигает мысль о “существовании времен, наплывающих друг на друга волнами, в которые можно войти, словно в сегодняшнее море” [5].

Форма легенд о прошлом в философских стихотворениях “Перстень” и “Звездный ужас” – дань традиции в книге “Романтические цветы”. По двухчастной схеме “прошлое-настоящее” построены стихотворения “Мои читатели”, “Ольга”, “Дева-птица”.

Итак, формы временной организации поэтических образов у Гумилева постепенно усложнялись. Если семантика пространства в произведениях поэта сводится к общей идее духовного пути, то время в его поэтическом мире постепенно вытесняется вневременностью и вечностью.

Литература

1. Радугин А.Л. Философия. М., 1995. С. 50.
2. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 172.
3. Раскина Е.Ю. Поэтическая география Н.С. Гумилева. М., 2006.
4. Йейтс У.-Б. Роза и башня СПб., 1999. С. 210.
5. Павловский А.Н. Гумилев // Вопросы литературы. 1986. № 10. С. 127.



Незабвенный след
бунинского поэтического слова

© Е. А. ГУЛАК,
кандидат филологических наук

“Вечный противник модернизма во всех его видах”, Бунин решительно отстаивает классическую традицию русской литературы, усиливая в ней изобразительное начало. Несмотря на то, что установка на внешнюю изобразительность, максимальную конкретность, пластичность образа составляет, пожалуй, наиболее существенную и характерную особенность бунинского поэтического стиля, его лирика насыщена эмоциональностью, глубоким внутренним психологизмом. Все проявления психической жизни в лирике И.А. Бунина передаются через внешнюю изобразительную деталь, которая, помимо своего буквального, “вещественного” значения, включает в себе потенциальную энергию выражения побочных, ассоциативно связанных с ней образов и чувств; конкретный, пластичный образ в сложной композиции целого становится ярким выразительным средством.

Композиция ряда бунинских стихотворений организована взаимодействием метонимических и метафорических смыслов, формирующихся в пределах целого текста. Такую композицию имеет, например, стихотворение “Синие обои полиняли...”:

Синие обои полиняли,
Образа, дагерротипы сняли –
Только там остался синий цвет.
Где они висели много лет.

Позабыло сердце, позабыло
Многое, что некогда любило!
Только тех, кого уж больше нет.
Сохранился незабвенный след.

Стихотворение состоит из двух строф, которые представляют собой части образного параллелизма, связанные между собой одновременно отношениями сходства и смежности, в результате чего смысл текста все время колеблется между метафорическим и метонимическим полюсами. Образный параллелизм строф поддерживается и сходством их синтаксической структуры, первое и второе двуступиши каждой строфы находятся между собой в отношениях ограничительного противопоставления, вторые двуступиши обеих строф представляют собой местоименно-соотносительные предложения отождествительного типа.

Метафорическое осмысление текста возникает из-за того, что между образами каждой строфы устанавливаются отношения сходства. В результате сопоставления первого предложения первой строфы (“Синие обои полиняли”) и первого предложения второй строфы (“Позабыло сердце, позабыло Многое, что некогда любило!”) в их семантике обнаруживается общий смысловой элемент: утрата яркости, отчетливости проявления признака, первоначально присущего субъекту. В первом случае этим признаком является цвет, во втором – воспоминания. На основании общего семантического элемента между образами устанавливаются отношения сходства: подобно тому, как полиняли синие обои, сердце позабыло многое, что некогда любило (*сердце* в данном случае представляет собой общепоэтическую метонимию). Экспрессивный акцент здесь падает на второй член (“Позабыло сердце, позабыло Многое, что некогда любило!”), повтор сказуемого *позабыло* и его место в конце стиха делают это предложение экспрессивным центром всего стихотворения.

Заключительные предложения обеих строф (“Только там остался синий цвет, Где они висели много лет” – “Только тех, кого уж больше нет, Сохранился незабвенный след”) противопоставлены предшествующим им предложениям по линии частичного ограничения их содержания. В результате общности семантического элемента и между этими образами устанавливаются отношения сходства: подобно тому, как полинявшие обои сохранили синий цвет на месте висевших дагерротипов, в сердце сохранился незабвенный след тех, кого уж больше нет. Смысловое сходство подчеркнуто сходством синтаксической структуры предложений, синонимичными глаголами (*остался, сохранился*) и единством рифмы. Таким образом, конкретные предметы и детали, изображенные в первой строфе стихотворения, становятся метафорической параллелью явлениям внутреннего мира человека.

Однако этим смысл текста не исчерпывается, метафорические взаимодействия между образами осложняются метонимическими представлениями и ассоциациями, значительно углубляющими смысловую перспективу текста.

Слово *след* вследствие полисемантической совмещает в себе два значения – “след в памяти” и “след на стене”. Реализация первого из них

ведет к метафорической интерпретации текста, реализация второго – к метонимической. В последнем случае (при осмыслении слова *след* в значении “след на стене”) противопоставление заключительного предложения предыдущему принимает характер ассоциативного, эллиптического присоединения, что усиливает смысловую напряженность, а текст стихотворения замыкается в своеобразное кольцо: первая строфа рисует конкретные детали внешнего мира, начальные строки второй строфы наполнены эмоциональностью, являющейся следствием выражения внутреннего, субъективного состояния, после чего смысловое движение вновь возвращается к деталям, изображенным в первой строфе. В результате метафорические взаимоотношения уступают место метонимическим. Содержание первых предложений обеих строф (“Синие обои полиняли”, “Позабыло сердце, позабыло Многое, что некогда любило!”) осмысливается не как сходное, а как смежное: оба предложения называют результаты, вызванные одной и той же причиной, – уходящим временем: обои полиняли, а вместе с ними и воспоминания утратили яркость. Взаимосвязь между синим цветом на обоях и воспоминаниями о тех, “кого уж больше нет”, также из метафорической превращается в метонимическую: синий цвет на обоях становится как бы напоминанием об умерших людях в результате ассоциаций, основанных не на сходстве, а на пространственной смежности явлений: синий цвет на обоях – место, где висели дагерротипы; люди, изображенные на них, – “те, кого уж больше нет”.

Таким образом, композиция стихотворения основана на таком взаимодействии реального и метафорического словесных рядов, при котором образы воспринимаются одновременно в двух значениях – буквальном и символическом. Как отмечает В.В. Виноградов, такой “прием переплетения двух планов, которые то сливаются в один метафорический ряд, то разъединяются, как бы отдаваясь – каждый – непроизвольно ассоциативному течению, усиливает эмоциональную напряженность речи” [1].

Литература

1. Виноградов В.В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976.



*Библейские цитаты
в прозе Виктории Токаревой*

© Ю. М. АФАНАСЬЕВА

Цитаты из Библии позволяют взглянуть на описываемые в художественном тексте события с позиции вневременных по своему содержанию притч и заветов, заставляют сопоставить сюжетные линии и характеры героев с идеалом человеческого поведения. Примеры библейских цитат находим и в некоторых произведениях В.С. Токаревой.

В тексте рассказа "Где ничто не положено" читаем: *«В Евангелии от Матфея сказано: "Где ничто не положено — нечего взять"»*. Герой рассказа — рядовой учитель музыки — вспоминает это высказывание, глядя на своих учеников: *"В моих учениках, за редким исключением, ничто не положено"* (Курсив здесь и далее наш. — Ю.А.). Почти все они без слуха, почти все провалились в музыкальной школе и теперь учатся в клубе просто так, для себя. Вернее, не для себя, а для своих родителей".

Часть цитаты из Священного Писания, вынесенная в заглавие рассказа, сразу обращает на себя внимание читателей. Текст Токаревой становится своеобразной современной иллюстрацией универсального библейского изречения. Учитель музыки случайно знакомится с девушкой, которая любит другого мужчину и не скрывает этого, проводит вечер у незнакомых людей и неожиданно для себя открывает иной смысл известного ему библеизма: *«Мне нравилось бывать в обществе женщин. С ними я чувствовал себя талантливей и значительнее. <...> Знакомаясь, я обычно сразу предупреждал, что не собираюсь жениться.*

<...> И получалось, что женщины действительно на меня не рассчитывали, а относились несерьезно, как к эпизоду.

И мои ученики никогда не станут профессионалами. Они вырастут, и каждый будет заниматься своим делом. Может быть, иногда вспомнят, что ходили когда-то на музыку. А может, и не вспомнят. *Забудут, как неинтересный эпизод.*

За окном двигались тени. Я смотрел на них и думал о том, что *моя жизнь – сплошной эпизод, а сам я – эпизодический персонаж.* А я мог бы играть главную роль в жизни того же Миши Косицына (один из заурядных учеников героя рассказа), если бы иначе относился к нему. Вернее, к себе. И женщина сумела бы по мне заплакать. А почему нет? У меня хороший характер, я ни от кого ничего не требую, и со мной легко.

Я ничего не требую, потому что сам ни в кого и ни во что себя не вкладываю. А “где ничто не положено – нечего взять”».

Аналогичную нравоучительную функцию выполняет библеизм в повести Токаревой – “Ни сыну, ни жене, ни брату”. Девятиклассник Александр Дюкин (по прозвищу Дюк) на вопрос учителя “Кто ты есть?” отвечает, что он талисман: “Если задумать какое-то важное дело и взять меня с собой – все получится”. Дюку верят, к нему начинают обращаться люди с просьбой помочь им в разных делах. И он делает все возможное, чтобы помочь им реализовать мечту, а себе – утвердиться в глазах окружающих в качестве “всесильного талисмана”. Так, однажды он исправляет в паспорте малознакомой женщины год рождения, сделав тем самым ее на девять лет моложе. Мучаясь угрызениями совести, Дюк обращается за советом к маме и получает ответ:

«– В Библии сказано: *“Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над собой при жизни твоей. Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем...”* Надо быть тем, кто ты есть. Самое главное в жизни – найти себя и полностью реализоваться». Стремясь последовать этому завету, Дюк пытается строить свою жизнь в гармонии с окружающим миром.

Библейская цитата в повести “Неромантичный человек” представляет собой отсылки на драматический эпизод из Священного Писания.

Девушка Танька, пытаясь обратить на себя внимание молодого летчика, чтобы вовлечь его в любительский вокально-инструментальный ансамбль, забывает в сопло вертолета огромную тыкву. Вертолет взлетает, но через несколько мгновений падает на землю. Летчик, узнавший от Таньки причину катастрофы, обещает обратиться в милицию.

«Летчик вытащил из сопла тыкву и потряс ею над головой.

– Вещественное доказательство! – объявил он – В милиции поговорим. <...>

И пошли в разные стороны. Летчик – к вертолету. Танька – к дому.

Танька пошла и заплакала. *Как сказано в Библии: “И исшед плакая горько”».*

Данный библеизм представляет собой цитату из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки: “И исшед вон, плакася горько”, встречающуюся в сцене отречения Петра от Иисуса.

Героиня повести Танька плачет оттого, что ее слова и поступки воспринимаются окружающими иначе и влекут совершенно противоположные ожидаемым последствия. Не желая зла летчику, действуя из лучших побуждений на благо родного колхоза, Танька приносит молодому человеку одни неприятности. Однако и у этого трагикомического события есть положительная сторона – в результате падения летчик избавляется от боязни высоты и теперь может заняться любимым делом – стать профессиональным музыкантом, а Танька принимает судьбоносное для нее решение – меняет возможную карьеру певицы на обычную однообразную жизнь рядом с любимым и преданно любящим ее односельчанином Мишкой. Вспомним, что апостол Петр позже искупает свою вину, страдая за веру, доказывает свою искреннюю любовь к Иисусу.

Приведенная цитата из Священного Писания, на первый взгляд, носит в описываемой сцене несколько иронический характер. Однако при “наложении” универсальных по своему значению библеизмов на эпизоды из обыденной жизни высвечиваются скрытые глубины авторского замысла.

Липецк



Об использовании заимствованных слов

© В. Э. МОРОЗОВ,
доктор филологических наук

Русский язык, как и его предки: общеславянский и древне-восточнославянский (древнерусский), издревле обогащал свой словарный запас разными способами, в том числе и заимствованием иностранных слов. По многим, обычно внеязыковым, причинам в разные эпохи шли волны заимствований: древнегерманские, греческие и старославянские, тюркские, польские, голландские и немецкие, французские, в современную эпоху – английские. По большей части русский язык органично включает заимствования в свою грамматическую систему, при этом по необходимости изменяет их фонетический облик, а нередко и значение. Этот процесс, как известно, называется освоением иноязычного слова. Проходя этот путь, некоторые заимствования создают определенные трудности носителям языка, и не только с точки зрения произношения и написания.

Эти трудности можно считать оправданными при совокупности следующих условий использования чужих слов.

1. *В русском языке нет лексической единицы для выражения смысла, который требуется передать в речи*, например: *гастарбайтер*. Слово-сочетание *иностраный рабочий* слишком неоднозначно, и скорее всего под ним понимаются рабочие-иммигранты. Конечно, приобретая новые предметы и воспринимая новые понятия, мы вынуждены вместе с ними принимать и их названия. Однако следует быть весьма внимательными, чтобы, гонясь за чужим, не предать забвению свое и не исказить тем самым истину. Например, в последнее время в телепрограммах иногда используется варваризм *деретизатор*, причем можно услышать, что это название новой профессии. Но если вспомнить исконное русское слово *кры-*

солов, то можно усомниться не только в необходимости использования варваризма, но и в правильности квалификации самой профессии как новой. Скорее, следует говорить о возрождении старой профессии.

2. *Значение варваризма нецелесообразно передавать иными способами.* Например: *компьютер*. Выражение *электронно-вычислительная машина* слишком громоздко, сокращения же, типа ЭВМ, в настоящее время менее популярны, чем в советскую эпоху, а в отношении употребляющихся в быту приборов даже и тогда не применялись. Словообразовательная калька *вычислитель* не вполне отражает реальные возможности компьютера. Кроме того, данное существительное уже используется в значении “специалист по вычислительной технике”.

Способы передачи значения иноязычных слов разнообразны: семантическое калькирование, словообразовательное калькирование, образование словосочетания, которое в успешном случае станет устойчивой лексической единицей, именование объекта путем развития многозначности слов русского языка. На этом пути можно пожелать большей изобретательности представителям научных и технических специальностей. Например, совокупности файлов, объединенные под общим названием, в период становления отечественной информатики именовались *директориями*. В русском литературном языке уже давно существует экзотизм *директория*, обозначающий коллегиальный орган государственной власти Первой Французской республики в послеякобинскую эпоху. Этот экзотизм никак не соответствовал потребностям компьютеризации. Но специалисты по информатике были уверены, что по-другому данный смысл выразить невозможно. Однако вслед за тем как в английском языке слово *directory* было вытеснено существительным *folder*, в русской компьютерной лексике место *директорий* заняли *папки*, причем сущность объекта никак не изменилась. Нетрудно заметить, что юные пользователи компьютерной техники в большинстве своем уже не знают слова *директория*.

Удачной можно признать семантическую кальку английского слова *user* – *пользователь*, употребление которой даже вышло за изначальные пределы и стало обозначать не только лиц, использующих компьютеры, но и другую технику и даже словари и справочники.

В выпуске телепрограммы “Вести. Москва” от 28 марта 2008 года прозвучало предложение проводить в вузах *скирининговое* тестирование студентов на наркотическую зависимость. Для выражения смысла, который автор пытался передать при помощи варваризма, не вполне доходчиво пояснив, что речь идет о некоем предупредительном тестировании, вообще не обязательно вводить в язык новое слово. Вполне достаточно сказать, что речь идет о тестировании абитуриентов.

Веской причиной принять заимствование может стать то, что оно позволяет выразить одним словом смысл, который по-русски выражает-

ся словосочетанием. Но это верно лишь при двух условиях: во-первых, если сочетание состоит более, чем из двух слов, иначе “овчина не стоит выделки”, во-вторых, заимствование действительно должно быть одним словом, а не словосочетанием. С этой точки зрения, например, варваризм *секонд-хенд* (буквальный перевод с английского “вторая рука”) ничем не отличается от исконно русского *бывшее в употреблении*, особенно если учесть широкое распространение разговорного сокращения БУ.

3. *Заимствование оправдано, если оно используется в тексте многократно.* Например, в статье “Хостес – лицо ресторана” (Работа. Учеба. Сервис. 2008. № 10) использование варваризма, ставшего термином ресторанного дела, оправдано тем, что ни его буквальный перевод – *хозяева* – ни другие переводы: *бортпроводники*, *дежурные по этажу*, не соответствуют описываемой должности, которая учреждена во многих ресторанах для встречи клиентов, их сопровождения к столу и первого вызова официанта. Поскольку статья посвящена описанию именно этих должностных функций, слово *хостес* правомерно используется в ней более двадцати раз при соответствующем разъяснении его происхождения и буквального значения.

Варваризм *криминг* (от английского *creaming* – “снимать сливки”), обозначающий специальный прибор для нелегального считывания сведений с пластиковой карты, возможно, весьма востребован в соответствующих кругах и у тех, кто с ними борется. Но вряд ли было необходимо единожды упоминать этот узкоспециальный термин (а, может быть, жаргонизм) в телевыпуске “Сегодня” 12 марта 2008 г., тем более, что при этом потребовалось потратить эфирное время на объяснение не только самого прибора, но и происхождения слова.

4. *Автор речи должен быть уверен, что адресат поймет заимствование, либо обязан обеспечить ему понимание слова.* Так, в выпуске телепрограммы “Обзор. Спасатели” от 30 марта 2008 г. было показано, как сотрудники МЧС освободили человека, голова которого застряла между стальными прутьями. Они разрезали эти прутья особым инструментом, без объяснения названным *спредером*, напоминающим гигантские автоматические кусачки. Поскольку внешний вид и назначение инструмента можно было наблюдать воочию, а иного названия, кроме упомянутого, он не имеет, следует считать, что данный случай вполне удовлетворяет условиям использования варваризмов.

В выпуске телепрограммы “Сегодня” от 13 марта 2008 г. было сообщено о том, что японские ученые разработали *прототип* новых электронно-вычислительных машин. Слово *прототип* означает принципиальную модель устройства, на основе которой можно создавать различные прикладные модификации. Употребление этого слова на массовом экране требует соответствующих пояснений. Но, думается, в данном сообщении можно было обойтись без него, сказав, что японские ученые разработали новый тип электронно-вычислительных машин.

Нарушение перечисленных условий использования иноязычных слов может повлечь определенные проблемы в понимании речи ее адресатом.

Первая проблема появляется, когда варваризм, изначально обозначающий явления, для которых в принимающем языке уже имеется слово, неизбежно вступает с ним в соперничество, причем, как правило, весьма жесткое. Иногда оно заканчивается победой варваризма. Так, заимствованное в свое время из немецкого языка существительное *кухня* в конце концов вытеснило в бытие слово *поварня*. Бывает и так, что русское слово изгоняет, казалось бы, уже прочно освоенное заимствование. Так случилось с пришедшим из немецкого языка и широко использовавшимся примерно до середины семидесятых годов прошлого века словом *штенсель*, которое затем весьма быстро даже по меркам одного поколения уступило свое место слову *вилка* практически во всех стилях речи.

Но иногда результатом конкуренции может стать затяжная ситуация частичной неопределенности значения сосуществующих слов. Например, латинское причастие *objectus*, буквально означающее “брошенный вперед”, было калькировано известным образом: *предмет*, а также было прямо заимствовано в том же значении: *объект*. В настоящее время данные существительные частично противопоставлены друг другу, но не всегда: *предмет обожания, мебели, одежды; объект географический, слежения, космический*. Ср.: *объект/предмет внимания, стремления, мысли, спора, обсуждения*. В последних примерах эти слова синонимичны друг другу. Таковыми с собственно языковой точки зрения они должны быть и в сочетаниях *объект/предмет исследования*. Но в требовании разграничить *предмет* и *объект исследования* деятели науки до сих пор не пришли к единому пониманию, как именно следует их разграничивать. Это приводит к разного рода недоразумениям в научном общении.

При полном совпадении синонимов по значению и сочетаемости возможна иная проблема – отсутствие ясности критериев выбора исконно русского слова и заимствования. Говоря проще, непонятно следующее. Раз автор речи не считает приемлемым русское слово, значит, оно неспособно выразить необходимый смысл. Но если вместо русского слова используется заимствование, имеющее то же самое значение, то какое содержание вкладывается в него? Например, в выпуске программы “Сегодня” от 14 марта 2008 г. рассказывалось о Российской книжной выставке отечественных изданий. Так называемые карманные издания были названы *покетбуками*, что вряд ли соответствует как описываемой ситуации, учитывая, что она имела исключительно российскую почву, так и адресату сообщения, которыми являются носители русского языка.

Очень часто для обозначения одного и того же городского объекта используются исконное русское слово *стоянка*, относительно новое су-

ществительное с иностранным корнем *парковка* и варваризм *паркинг*. Думается, если авторы стремятся избежать тавтологии, то двух первых слов вполне достаточно.

В выпусках телепрограммы “Сегодня” от 13 марта 2008 г. утверждалось, со слов родственников поэта С. Михалкова, что он по поведению “чистый тинни”, т.е. *тинейджер*. Известно, что английское *teenager* переводится на русский язык существительным *подросток*. Но если репортера не устроило это слово, то что он имел в виду, называя девяти-десятилетнего патриарха русской поэзии и автора отечественных гимнов именно “тинейджером по поведению”?

Примером неудачного употребления уже освоенного заимствования может послужить и фраза, сказанная писательницей Арбатовой генералу милиции в одной из телепередач С. Соловьева “К барьеру”: “Вчера у меня состоялась *коммуникация* с двумя сотрудниками ГИБДД”. На настойчивую просьбу генерала объяснить, что имела в виду писательница, употребляя слово *коммуникация*, а не *общение*, последняя ничего внятного ответить не смогла. Конечно, стилистическая разница между нейтральным русским словом и книжным заимствованием очевидна. Однако рамки телепрограммы позволяют использовать книжные слова. Почему в научной речи можно сказать: *собеседники вступают в коммуникацию*, а во вполне серьезной телепередаче нельзя? В этом вновь можно увидеть отношения частичной неопределенности выбора между заимствованием и русским словом.

Еще одна проблема обусловлена вынужденной индивидуальной интерпретацией внеязыкового содержания иноязычного слова, которая вызвана неточностью его значения. Это касается прежде всего прилагательных, образованных от заимствований уже в самом русском языке, таких, как *инновационный* (от варваризма *инновация*). Вообще, слово *innovation* значит “обновление”, поэтому *инновационный* должно бы быть синонимом *обновленный*. Но фактически оно приблизилось по смыслу к прилагательному *новаторский*. В конечном счете значение этого слова остается весьма расплывчатым. Поэтому на следующий день после того, как 8 февраля 2008 г. на заседании Госсовета Российской Федерации несколько раз было использовано слово *инновационный*, в том числе в сочетаниях *инновационное поведение граждан*, *инновационные вооруженные силы*, В. Познер в своей программе “Времена” поставил вопрос – как ее участники поняли данное слово в упомянутой речи? Были высказаны разные точки зрения, причем каждый подчеркнул, что выражает исключительно собственную интерпретацию.

Проблему может создать и незнание варваризма адресатом. Так, на одном из рекламных плакатов на станции Московского метрополитена “Петровско-Разумовское” можно прочесть: “У меня самый большой *пиринг*”. Последнее слово обозначает сообщество пользователей компьютеров, объединенных по сетевому принципу. Конечно, многие мо-

лодые люди знают это английское слово, но далеко не все. Поэтому такая реклама способна привлечь лишь заинтересованных осведомленных людей и некоторых, особо любознательных. Остальные же просто оставят ее без внимания. Иное дело – объявление в газете: “Вакансия: Начальник отдела *клининга*. Женщина 30–40 лет, с опытом работы не менее 3-х лет и со знанием технологии процесса” (Труд: Вакансии. 2008. № 20). Оно адресовано только лицам, знающим, что такое *клининг*.

Вот пример из разговора в хозяйственном магазине: “– Дайте, пожалуйста, *френч-пресс*. – У нас такого нет. – Ну, как же. Вот же он стоит. – Так бы и сказали, что вам нужен кофейник с прессом”. Если бы покупательница сама не увидела нужный ей товар, она ушла бы, не сделав покупки, так как продавщица ее не поняла.

Если автор речи предвидит затруднения, которые могут возникнуть у адресата вследствие непонимания варваризма, и одновременно использует русское слово, то по существу допускает плеоназм. Например, на заседании Президиума Госсовета 26 марта 2008 г. было сказано, что основным препятствием для малого предпринимательства является “*сильнейший прессинг, давление*” в виде многочисленных проверок.

Еще одна проблема возникает, если некто пытается использовать уже имеющееся заимствование в необычном значении вместо того, чтобы применять подходящее по значению русское слово, например: “Металлоискатель с функцией *дискриминации* металлов. Функция дискриминации позволит вам настроить металлоискатель на нужный тип металла искомых объектов” (Антенна. 2008.10–16 марта.). Как известно, слово *discrimination* буквально значит “вменение в вину”, а в русском языке *дискриминация* означает изменение общего мнения о ком/чем-либо в худшую сторону. С этим никак не вяжется словосочетание *дискриминация металлов*. Даже если подобного рода недоразумения допущены в текстах на языке-источнике, не следует повторять чужие ошибки. В частности, в приведенном примере лучше было бы использовать словосочетание “металлоискатель с функцией *выбора* металлов”. Именно существительное *выбор* отражает суть действия, которое состоит в настройке металлоискателя на определенный металл, а уже в силу этого другие металлы оставляются без внимания. Слово же *дискриминация* лишь вызывает недоумение.

Проблема использования заимствований может заключаться и в том, что употребляющий его не вполне сам осознает значение используемого им слова. Это прежде всего связано с неясностью внутренней формы заимствования для многих носителей русского языка. Например, глагол *ангажировать*, как известно, значит “приглашать на танец”. В этой связи нелепо звучат заполонившие эфир выражения, типа *политически ангажированные журналисты*. Слово *маргинальный* имеет значение “исключительный, уникальный”. Поэтому нелогичны высказывания, вроде *маргинальные слои населения*. 23 марта 2008 г. в программе “Сегодня:

Итоги недели” был назван “настоящим *гастарбайтером*” гражданин Италии Пьетро Маца, переехавший в Россию и создавший здесь собственную ферму. Понятно, что он справедливо мог бы быть назван “иностранным фермером”, но не “иностранным рабочим”, *гастарбайтером*.

Особую проблему создают варваризмы, фактически не имеющие значения в русском языке, типа *гламур(ный)*. Проведенный нами опрос 20-ти специалистов-филологов, посещавших риторические курсы в Гос. институте русского языка им. А.С. Пушкина в июне 2007 г. показал чрезвычайный разброс мнений относительно его значения: от “изысканный, изысканный” до “пошлый, крикливый”. Некоторые из опрошенных признались, что затрудняются истолковать значение. Такой же разброс наблюдался и в результатах опроса 20-ти студентов учетно-финансового факультета РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, с тем отличием, что все они наряду с прочими признаками указали “модный”. При таком положении дел автор речи и адресат фактически не полностью понимают друг друга, хотя могут этого и не осознавать.

Весьма деликатная проблема касается применения варваризмов, которые в языке-источнике считаются так называемыми нецензурными словами. Так, широко употребляющееся сейчас слово *путана* является не чем иным, как грубым, бранным существительным из испанского языка (*putana* – увеличительное от *puta* “женщина легкого поведения”). Конечно, в Аргентине вряд ли бы вышел на телевизионный экран сериал под названием “Путаны”, которое, нужно подчеркнуть, было ему дано на российском телевидении. Оригинальное же его название выглядело на экране примерно так: *Disputas* (“Диспуты”), содержа лишь намек на нецензурное слово.

Варваризмы могут создавать и грамматические проблемы. Так, с “легкой руки” отечественных средств массовой информации в русском языке появилось новое, вряд ли нужное, исключение. Слово *евро*, которое по общему правилу должно было бы стать существительным среднего рода (ср.: *песо*, *эскудо*), вошло в число слов мужского рода. Неудивительно, что до сих пор некоторые носители языка вопреки этому произносят: *евро подорожало*. И, говоря честно, не хочется упрекать их за это. Скорее следует попенять средствам массовой информации за непродуктивное применение нового заимствования.

Наконец, проблемы могут возникать и из-за неопределенной сочетаемости варваризма со словами русского языка. Если, например, обратиться к уже упомянутому варваризму *прессинг*, то с каким глаголом его сочетать: *оказывать*, *применять*, *производить* или с каким-либо другим? Еще пример. Все знают, что машину можно *поставить на стоянку*. А как быть с *парковками* и особенно с *паркингами*?

Итак, заимствование иноязычных слов остается важным путем пополнения словарного запаса. Но прибегать к ним нужно с осторожностью, не пренебрегая возможностями богатейшего русского языка.

О сквернословии

© Е. А. ПОПОВА,
доктор филологических наук

Откуда взялся русский мат? К какой лексике он относится: исконно русской или заимствованной? В предположениях относительно заимствования матерной ругани нет недостатка. Так, даже в настоящее время еще популярна версия о восточном (тюркском) происхождении русского мата, якобы пришедшего к нам во времена татаро-монгольского нашествия. Любопытно в этой связи, что современные монголы полагают, будто непристойные ругательства, бытующие в их языке, заимствованы у русских. Доказательством этому утверждению служит и тот факт, что у монголов, живущих за пределами Монголии и мало вступающих в контакт с русскими, подобных ругательств не наблюдается [1].

Матерная лексика по происхождению является общеславянской и восходит ко временам язычества. Исконно русское происхождение мата подтверждает и Этимологический словарь русского языка Н.М. Шанского, в котором сказано, что слово *мат* образовано на базе словосочетания *матерная брань* и имеет отношение к слову *мать* [2], т.е. *мат* – это поношение матери.

“Повесть временных лет”, описывая языческие обряды радимичей, вятичей и северян, упоминает “срамословие” как черту языческого поведения: “А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало...” [3]. Б.А. Успенский и другие ученые считают, что матерная ругань “имела отчетливо выраженную культовую функцию в славянском язычестве”, она “широко представлена в разного рода обрядах ... языческого происхождения – свадебных, сельскохозяйственных и т.п., – т.е. в обрядах, так или иначе связанных с плодородием: матерщина является необходимым компонентом обрядов такого рода и носит безусловно ритуальный характер; аналогичную роль играло сквернословие и в античном язычестве... Одновременно матерная ругань имеет отчетливо выраженный антихристианский характер, что также связано именно с языческим ее происхождением” [4].

На Руси скверное слово считалось таким же тяжким грехом, как и плохое дело. Сквернословие приравнивалось к нарушению христианских заповедей “Не убий!”, “Не прелюбодействуй!”, “Не лжесвидетель-

ствуй!". Согласно учению апостола Павла, сквернословы ("злоречивые") наряду с блудниками, идолослужителями, прелюбодеями, мужеложниками, ворами, лихоимцами и другими нечестивыми не наследуют Царства Божия (1-е послание ап. Павла к коринфянам. 6: 9–10). Словесная брань, чрезмерно громкая и крикливая речь рассматривались нашими предками как проявление бесовского начала, а сквернословящих людей называли богохульниками. В многочисленных древнерусских и более поздних источниках отмечалось, что "матерная лая" оскорбительна сразу для трех матерей: Матери Господа, всех матерей человеческих (включая собственную мать сквернослова) и матери-земли. Существовало даже представление о том, что от матерного ругательства земля разверзается. Осквернившему себя руганью в этот день запрещалось входить в церковь, с ним вместе нельзя было принимать пищу, с его поведением связывались насылаемые Богом беды и скорби.

В истории нашей страны сквернословие запрещалось царскими указами, запрещалось в посланиях патриархов и митрополитов. Например, Иван Грозный повелел кликать по торгам постановлением Стоглавого собора (1551), где говорилось, чтобы православные христиане "матерно бы не лалялись, и отцем и матерью скверными речами друг друга не упрекали, и всякими б неподобными речми скверными друг друга не укоряли". На борьбу со сквернословием были также направлены указы царя Алексея Михайловича (1648), послания патриарха Иоасафа I (1636) [5].

В психологическом плане непристойные ругательства связаны с понятиями общечеловеческих табу и катарсиса как средства снятия внутреннего напряжения. Особенности неприличного словоупотребления делают его удобным средством выражения эмоций. Например, И.А. Стернин определяет сквернословие как "экспрессивные слова с неодобрительным значением, используемые с намерением или без намерения оскорбить слушающего. Сквернословие включает бранную и нецензурную лексику, но не включает вульгарную" [6]. В.К. Харченко относит к сквернословию не только сами непристойные ругательства, но и замену таких ругательств начальными буквами, а также слова, заменяющие ругательства (*блин* и под.), и даже глагол *материться* [7].

Характерно, что к непристойной брани мужчины прибегают чаще, чем женщины. Женщины тоже имеют право выражать словесно агрессивные чувства, но исключительно своими, а не "мужскими" средствами. Использование непристойной брани женщинами всегда рассматривалось как некая измена своему половому статусу. Неприятен матерящийся мужчина, но женщина, ругающаяся матом, неприятнее во много раз. Раньше считалось неприличным употреблять матерные слова в присутствии женщин. Одной из главных причин того, почему женщины сквернословят меньше мужчин, является то, что они чувствуют большую ответственность за воспитание детей и в языковом плане оказывают большее влияние на подрастающее поколение.

В нашей стране в последние годы сквернословие приняло поистине угрожающие размеры, стало национальным бедствием: матерятся взрослые и дети, мужчины и женщины... В последние годы широко распространилось печатное и экранное сквернословие. В том, что мат получил статус печатных слов, "постарались" и многие писатели, которые перенесли сквернословие на страницы своих произведений ради "правды жизни", а вернее, коммерческого успеха. Вряд ли они превзошли в правде классиков, которые тоже знали такие слова, но умели в своих произведениях обходиться без них.

Например, Ф.М. Достоевский, описывая в "Дневнике писателя" сцену с пьяными мастеровыми, которые по очереди произносят одно и то же "нелексиконное", "запрещенное при дамах" существительное, само это слово не называет [8]. У Н.В. Гоголя в "Мертвых душах" матерное слово тоже остается в подтексте. Непристойное слово, произнесенное мужиком в адрес Плюшкина, становится поводом для знаменитого лирического отступления, оканчивающего 5-ю главу. Темой этого лирического отступления являются "бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман", и "метко сказанное русское слово", которое сравнивается со словом британца, француза, немца [9]. Если бы Гоголь употребил на страницах "Мертвых душ" непристойное ругательство, ему вряд ли бы удалось достичь таких высот в размышлениях о русском народе и русском языке.

В современных кино- и телефильмах тоже широко употребляется мат как в "забибиканном" виде, так и в прямом звучании. По справедливому замечанию Г.А. Золотовой, нельзя объяснить дурную моду на такие слова только протестом против ограничений, "большинство людей, для которых всегда был неприемлем подобный способ самовыражения, не употребляли таких слов не потому, что они кем-то запрещались, а потому, что в них не нуждались: мир слов, чувств, интонаций безграничен и без них" [10]. Проникновение сквернословия в элитарную культуру ведет к оскудению ее духовности, подмене писательского и режиссерского мастерства эпатажем, откровенным цинизмом.

Для русской культуры всегда была характерна табуированность мата. По этой причине "Заветные сказки" А.Н. Афанасьева и "Русские заветные пословицы и поговорки" В.И. Даля и П.А. Ефремова, имеющие непристойное, эротическое содержание, в XIX веке не могли быть опубликованы в России, а печатались за границей. И.А. Бодуэн де Куртенэ, редактируя 3-е и 4-е издания "Толкового словаря живого великорусского языка" В.И. Даля, внес в словарь 20 тысяч новых слов, в числе которых были и непристойные. В начале XX века это было расценено как покушение на нравственные устои русского общества, из-за чего Словарь Даля под редакцией Бодуэна де Куртенэ вплоть до 90-х гг. не переиздавался. Приходится только сожалеть, что в последние годы издано несколько словарей, целиком посвященных мату. Но еще печаль-

нее то, что некоторые матерные слова включены в считающийся нормативным Большой толковый словарь русского языка (составитель С.А. Кузнецов) [11].

Одной из главных причин, обеспечивающих сквернословию жизнестойкость, является то, что многие считают его хорошим средством эмоциональной разрядки, оказывающим помощь в снятии стресса. По мнению многих, нельзя обойтись без мата в армии, на стройке, производстве и т.п. Но внутренняя диалектичность нецензурной брани в том и состоит, что, давая временное, сиюминутное освобождение от стресса, она в то же время создает нигилистическую модель дальнейшего поведения, ориентирует человека на циничное восприятие ряда важнейших этических ценностей. Все это влияет на моральное здоровье как самого сквернослова, так и окружающих его людей. "Последние научные изыскания показывают, что деструктивная роль сквернословия может быть еще значительнее, чем считалось до сих пор. В средствах массовой информации появилось сообщение о результатах исследования группы ученых Российской академии наук под руководством П. Горяева. Согласно исследованиям этой группы, словесная информация оказывает влияние на ДНК, причем сквернословие разрушает волновые программы, которые отвечают за нормальную работу организма (Аргументы и факты. 1998. № 41)" [2. С. 321]. Поэтому, конечно же, существует связь между широким распространением сквернословия и катастрофическим состоянием психического здоровья населения России.

Мы по праву можем гордиться нашим языком, который является одним из самых красивых, богатых и выразительных языков мира. На русском языке создана классическая литература, вызывающая восхищение, почтение и удивление других народов. Но русский мат, ставший неотъемлемой частью общения различных слоев населения, – это скверна, которой нужно стыдиться, поэтому каждый русский должен стремиться к тому, чтобы очистить от этой скверны как собственную речь, так и язык в целом.

Литература

1. Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. М., 2001.
2. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Значение и происхождение слов. М., 1997. С. 181.
3. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI – начало XII века. М., 1978. С. 30–31.
4. Успенский Б.А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М., 1996. С. 72–73.

5. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. М., 2003. С. 627.
6. *Стернин И.А.* Стилистическая характеристика слова в быденном языковом сознании // Русский язык сегодня. Вып. 4. Проблемы языковой нормы. Сб. статей. М., 2006. С. 520.
7. *Харченко В.К.* Молодежи о сквернословии // РЯШ. 1997. № 1.
8. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 21. Л., 1980. С. 108–109.
9. *Гоголь Н.В.* Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1973. С. 240.
10. *Золотова Г.А.* У языка, как у людей, – свои проблемы... // Русская речь. 2001. № 4. С. 35.
11. Большой толковый словарь русского языка. Составитель С.А. Кузнецов. СПб., 1998.

Липецк

Что такое *престиж*?

© Н. В. КРЮЧКОВА,

кандидат филологических наук

Понятие престижа относится к числу актуальных понятий современного общества: мы знаем, что есть престижные профессии и престижные курорты, слышим и читаем о том, как важно поддерживать престиж страны и т.п. Вместе с тем это понятие с трудом поддается определению: сформулировать значение слова *престиж* в современном русском языке, указать, в чем же состоят его сходство и отличие от других близких по значению слов, оказывается довольно трудной задачей.

Как же определяется значение слова *престиж* в основных словарях современного русского языка?

В “Русском семантическом словаре” слово *престиж* представлено как книжное и имеющее значение “уважение, безупречная репутация”. В свою очередь *уважение* толкуется как “почтительное отношение, основанное на признании чьих-н. достоинств, заслуг, действий”, а *репутация* – как “сложившееся общественное мнение о ком или о чем-нибудь”. *Престиж* включается авторами семантического словаря в группу “Социальная ценность, общественная оценка”, наряду со словами *авторитет*, *вес*, *влияние*, *заслуга*, *известность*, *популярность*, *признание*, *рейтинг*, *репутация*, *слава*, *уважение*, *успех* и др. Большинство лексем данной группы толкуется с отсылкой на одни и те же ключевые слова, а именно: *уважение*, *известность*, *влияние*, *признание*, *репутация*.

Слова, с помощью которых объясняются понятия социальной ценности, включают следующие смысловые элементы: сложившееся общественное мнение, положительное отношение/оценка, известность, возможность воздействия (на людей или на ход событий). В значении некоторых лексем ключевые для данной сферы семантические элементы пересекаются. Это относится и к слову *престиж*: его толкование включает в себя смысловые компоненты, имеющиеся также в толкованиях лексем *имя*, *репутация*, *реноме*, *авторитет*, *почет*, *уважение* и др. Последние, в свою очередь, содержат в своих толкованиях семантические элементы, сближающие их со словами *известность*, *популярность*, *слава*, *признание* и т.п. [1].

В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой *престиж* определяется как “влияние, уважение, которым пользуется кто-нибудь или что-нибудь”; выделяется также значение, реализуемое в сочетании *социальный престиж* – “значимость, приписываемая в общественном сознании тому или иному роду деятельности” [2]. В БАС и МАС *престиж* имеет значение “авторитет, влияние, которым пользуется кто-, что-либо”.

В “Толковом словаре русского языка начала XXI века” слово *престиж* отсутствует, однако есть слово *престижный*, для которого указываются два значения: 1. “Такой, который высоко ценится (в обществе или какой-л. среде), предпочитается другим; такой, который способствует приобретению или сохранению престижа” и 2. “Дорогой, высококачественный; такой, который свидетельствует о жизненном успехе кого-л.” [3]. Последнее значение показывает стремление выделить, обособить на лексикографическом уровне один из типов употребления лексем *престиж* и *престижный*, а именно употребление этих понятий по отношению к артефактам: некоторые типы артефактов имеют особую функцию – быть символом престижа. При этом оценка артефактов как престижных и их функция быть знаком престижа взаимобусловлены: артефакт престижен потому, что в данном обществе он принят в качестве конвенционального атрибута престижа; он не только “свидетельствует о жизненном успехе” – само обладание им уже является успехом.

Показательно и первое из приведенных в этом словаре значений (“Такой, который высоко ценится (в обществе или какой-л. среде), предпочитается другим...”), так как оно строится путем толкования значения лексемы *престиж* через общий, универсальный для всей семантической сферы социальной ценности компонент – “высокая оценка/ценность”.

Мы видим, что в словарных толкованиях лексемы *престиж* нет единства; они колеблются от указания на наиболее общее значение (“высокая ценность”) до сопоставления с различными синонимичными, по мнению авторов словарей, понятиями (*авторитет*, *влияние*, *уважение*, *репутация*).

Наиболее подробный сравнительный анализ семантики слова *престиж* находим в “Новом объяснительном словаре синонимов русского языка”. Члены синонимического ряда “Авторитет” (*авторитет*, *вес*, *влияние*, *престиж*) рассматриваются здесь в сопоставлении с двумя другими синонимическими рядами, содержащими указание на особый статус кого-либо или чего-либо среди какой-то группы лиц: ряд *известность*, *популярность*, *слава* и ряд *репутация*, *реноме*, *имя*, *слава*. Общим для всех трех рядов, по мнению автора словарной статьи Е.Э. Бабаевой, является указание на то, что группа лиц знает о существовании кого-л. или чего-л. [4].

Очень точным представляется следующее суждение Е.Э. Бабаевой: “*Престиж*, в отличие от других синонимов ряда, обозначает свойство, которым объект наделяется на основании сложившейся в обществе в данный момент и меняющейся со временем иерархии ценностей. Все престижное обладает в глазах общества о с о б о й значимостью и вызывает желание попасть в его орбиту, потому что причастность к престижному (знакомства в элитарных кругах, обладание престижной специально-

стью, принадлежность к престижному клубу и т.п.) сама по себе повышает социальный статус человека”. И далее: “Присвоение объекту свойства *престиж* происходит в результате постепенного изменения общественного мнения, а иногда и в о з д е й с т в и я на него” [Там же].

Полностью соглашаясь с этим рассуждением, скажем лишь, что, на наш взгляд, оно доказывает существенные различия в семантике слов *престиж* и *авторитет*, с одной стороны, и указывает на точки сближения современного понятия престижа с понятиями моды, популярности – с другой.

Для того чтобы попытаться яснее определить современное содержание понятия *престиж* в русском языке и выяснить, является ли *престиж* синонимом к словам *уважение*, *авторитет*, *влияние* или *репутация*, обратимся к современному речевому употреблению и ассоциативным данным.

В качестве материала для анализа мы использовали тексты Национального корпуса русского языка (НКРЯ, <http://ruscorpora.ru/>); поиск проводился в основном корпусе НКРЯ, самой объемной частью которого является подкорпус современных письменных текстов (середина XX – начало XXI в.). Мы обратили особое внимание на то, какие слова (и понятия) соседствуют со словом *престиж* в контекстном употреблении; речь идет не о синонимах, а о с м е ж н ы х понятиях: ни одно из них не заменяет слова *престиж* во всех возможных контекстах его употребления.

Пожалуй, наиболее часто с лексемой *престиж* соседствует слово *авторитет*: “15-летний стаж “Ники” уже доказал ее *престиж* среди кинематографистов, а “Золотому Орлу” еще предстоит завоевать *авторитет*”; “Предусматриваются средства самозащиты судом своего *авторитета* и *престижа* как органа судебной власти; Все это бьет по *авторитету*, по *престижу* русской культуры”.

В чем же состоит сходство и различие этих, несомненно, очень близких понятий?

Для авторитета актуально наличие его “обоснования”: предполагается, что авторитет возникает вследствие каких-либо реальных заслуг, если же это не так, то авторитет является *дутым*, *раздутым*, *ложным*. В отличие от авторитета, *престиж* *дутым* или *ложным* быть не может, так как он не обязательно должен быть основан на заслугах, т.е. быть *заслуженным*. Престиж может быть лишь следствием моды, продуктом социальной или коммерческой рекламы, применения PR-технологий.

В ряде контекстов *престиж* соседствует с понятием “влияние”: “А успех работы нашего Союза, его *престиж* и *влияние* будут зависеть прежде всего от нас с вами”. Наличие семантического компонента “влияние” объединяет понятия *престиж* и *авторитет*; точнее было бы сказать, что, выступая в качестве синонимичного понятию *авторитет*, *престиж* также актуализирует этот семантический признак в сво-

ем значений: “Просто к этому времени *авторитет, престиж* партии упал до такой степени, что она уже не могла, как прежде, *влиять* на общественное мнение”. Вместе с тем указанный признак, вероятно, более важен для авторитета, чем для престижа.

Характерно, что суждения о престижности выносятся без знакомства с деятельностью носителей этого свойства. Так, люди, никогда не учившиеся в Оксфорде (и не знакомые с учившимися там людьми или их деятельностью), считают престижным диплом Оксфордского университета; человек может считать престижными клуб, коньяк, марку автомобиля, городской район, туристическое направление и т.п., не имея никакого знакомства с этими местами и объектами, кроме самого поверхностного представления – знания о том, что в обществе существует сложившееся мнение об их высокой социальной ценности (престижности).

Зачастую представление о престижности чего-либо основывается на знании о высокой стоимости этого объекта: “...бывает “презентационная свадьба”, куда приходят, чтобы пообщаться с деловыми партнерами и “засветиться” в обществе. Здесь особенно важны элементы *престижа* – дорогие наряды и оформление, известные артисты, роскошный стол”.

Еще одним смежным, пересекающимся с престижем понятием является понятие *имиджа*: “Наконец, есть еще и вопрос *имиджа, престижа*”; “Опыт говорит о высокой роли рекламы в создании *имиджа* армии и флота, повышении *престижа* военной службы”. Отличие престижа от имиджа состоит, прежде всего, в наличии у первого смыслового компонента “высокая оценка”. Кроме того, имидж – понятие, в большей мере соотносимое с отдельным индивидуумом, с его внешними и поведенческими особенностями. Элемент “положительная оценка” в семантике *престижа* может быть актуализирован контекстным окружением, например: “Карьера продавца фирменного салона подрастеряла *престиж* и не выглядит сейчас столь же привлекательной, какой она была лет 6–7 назад”.

В ряде контекстов *престиж* сближается с популярностью, известностью, славой, признанием, например: “Перевод Липкина – это ... *престиж* и *известность* не только в границах СССР и сопредельных “братских” стран, но и во всей Европе, это возможность литературного признания”; “Серия ЖЗЛ в 1960-е годы достигла огромного *престижа* и *популярности* среди интеллигенции”. Сюда же можно отнести и контексты, в которых смежным *престижу* понятием оказывается *мода*: “Гражданин Н.Л. очень рвался на *модный* и *престижный* спектакль в известном театре”.

Ассоциативные реакции, зафиксированные на стимулы *престиж* и *престижно* в “Русском ассоциативном словаре” [5], показывают, что концептуальная и семантическая область, представленная именем *пре-*

стиж, в сознании современных носителей русского языка имеет больше точек пересечения с понятиями моды, популярности, имиджа, чем с понятием *авторитет*.

Обратим внимание и на реакции *должность, положение*, встретившиеся на стимулы *престиж* и *престижный*. Эти реакции указывают на присутствующую в сознании носителей языка связь понятий престижа и статуса (кстати, *рейтинг* – это тоже *положение* на какой-либо шкале); сам по себе высокий статус является фактором возникновения, источником престижа. Таким образом, интуитивное представление носителей языка о престиже можно было бы сформулировать примерно так: престиж – это высокая ценность чего-либо или кого-либо вследствие статуса, положения либо вследствие моды, популярности (а не вследствие каких-либо заслуг).

Обращает на себя внимание схожесть оценочных реакций в статьях *мода* и *престиж*. При наличии положительных оценок оба стимула вызвали и целый ряд оценок отрицательных, выражающих пренебрежительное отношение к этим социальным ценностям: *иллюзия, чушь* на стимул *престиж* и *ерунда, глупо, глупость* и др. на стимул *мода*. Причина такого реагирования состоит, видимо, в ощущении внешнего, поверхностного, иллюзорного характера моды и престижа. Поэтому *престиж* может интерпретироваться в речевом употреблении как ложная ценность.

Таким образом, понятие престижа в современном речевом употреблении и в сознании носителей русского языка в большей степени сближается не с понятием *авторитет*, а с понятиями моды, популярности, известности, приобретая общие с ними элементы смысла: наличие широкого круга субъектов оценки (мнение масс), отсутствие обязательно обоснования в виде заслуг, высокого качества или глубокого содержания.

Литература

1. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слова и значений / РАН. Ин-т рус. яз.; Под общ. ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1998.
2. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996.
3. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / Под ред. Г.Н. Складчиковой. М., 2006.
4. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск / Под общ. руководством акад. Ю.Д. Апресяна. М., 2000.
5. Русский ассоциативный словарь / Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова. Кн. 1–6. М., 1994–1998.

Место ударения в кратких прилагательных: новые тенденции

© М. Р. ИЛЬИНА

М.В. Панов писал: “В 30–60-е годы господствовало такое отношение к литературному языку: норма – это запрет. Норма категорически отделяет пригодное от недопустимого. Теперь отношение изменилось: норма – это выбор. Она советует взять из языка наиболее пригодное в данном контексте” [1]. Подобный взгляд на проблему нормы заставляет лингвистов пристальнее вглядываться в сосуществующие произносительные варианты, устанавливая их нормативный статус. В данной статье речь пойдет о месте ударения в формах кратких прилагательных.

Известно, что у многих прилагательных в кратких формах меняется место ударения по сравнению с полной, например, *лёгкий*, но *легка́*, *легко́*, *легкий*. При этом в современной речи многие краткие формы прилагательных имеют варианты ударения на основе и на окончании. Например, в телевизионной и спонтанной речи окружающих людей зафиксированы следующие варианты акцентуации: *мо́дна* и *модна́*, *пе́стро* и *пестро́*, *пло́хи* и *плохи́* и мн. др. Встает вопрос о нормативности этих произношений и о соотношении между конкретными вариантами. В такой ситуации на помощь должны прийти орфоэпические словари, но тут возникает новая трудность, потому что разные лексикографические источники во многих случаях дают противоречивую информацию [2], [3], [4], [5], [6]. Возможно, формулировки разных словарей не всегда соответствуют реальной речевой практике либо авторы словарей фиксируют данные, соответствующие речи разных поколений, а анализируемая произносительная норма подвергается изменению в настоящее время.

Для выяснения этого вопроса было проведено специальное исследование. В экспериментах участвовали носители русского литературного произношения, объединенные в три возрастные группы (от 20 до 25; от 25 до 50; свыше 50 лет) – носители “младшей”, “средней” и “старшей” орфоэпической нормы. Все информанты – коренные москвичи (отец и мать родились в Москве), надолго из Москвы не уезжали. Среди них в равной пропорции были представлены женщины и мужчины, представители технических и гуманитарных специальностей. Эксперименталь-

ный материал собирался разными способами – половина информантов читала вслух специально составленные фразы, насыщенные краткими прилагательными, без подготовки, не имея времени на их обдумывание, другая половина письменно заполняла опросники, отмечая место ударения в тех же прилагательных. А для отвращения внимания испытуемых от цели исследования в экспериментальный материал, во-первых, вставлялись фразы-“пустышки”, не содержащие кратких прилагательных, а во-вторых, почти в каждой фразе использовались экзотические топонимы, что позволяло поставить перед информантом ложную цель эксперимента, отвлекая его внимание от произношения именно кратких прилагательных.

В результате эксперимента выяснилось, что ударение в кратких прилагательных допускает значительную вариантность, которая зависит от многих факторов. Ударение действует в конкретных словах по-разному, но все же можно сформулировать некоторые тенденции выбора его места.

Сравнивая полученные данные с рекомендациями словарей, можно заключить, что вариантность места ударения все шире распространяется во всех формах кратких прилагательных.

Основной вывод, к которому приводят результаты исследования, следующий – в современной норме существует тенденция к переносу ударения в кратких прилагательных с основы на окончание. Например, в форме множественного числа от прилагательного *быстрый* – все специальные словари указывают на сосуществование двух вариантов – *бы́стры* и *быстры́*, при этом основным, более предпочтительным называется *бы́стры*, но по данным проведенного эксперимента, *бы́стры* произносили реже, чем *быстры́*. Аналогично обстоит дело, например, с формой женского рода слова *мерзкий* – словари допускают и *ме́рзка*, и *мерза́*, а информанты в проведенном эксперименте произносили *мерза́* намного чаще, чем *ме́рзка*. В кратких формах прилагательного *широкий* словари допускают варианты *широ́ко* и *широко́*, при этом одни словари считают эти варианты равноправными, другие отдают предпочтение варианту *широ́ко*, а третьи – варианту *широко́*; исследование показало, что более распространен вариант *широко́*, чем *широ́ко*.

Надо сказать, что выявленная тенденция к переносу ударения на окончание сильнее проявляется в речи молодого поколения. Например, в предложении *Змея кобра скользка, мерзка и к тому же ядовита, поэтому люди ее боятся* представители “старшей” группы информантов ударение в 73% случаев ставили на основу *ско́льзка*, *ме́рзка*, в то время как носители “младшей” нормы акцентировали эти словоформы таким образом только в 28% случаев, предпочитая варианты *скольза́*, *мерза́*.

В примере *Кошки, живущие в Бугуруслане. нежны, добры и мягки* 62% представителей “старшей” группы поставили ударение на первый

слог (*мя́жки*); и только 34% опрашиваемых “младшей” группы поставили ударение на этот же слог.

В ходе эксперимента были выявлены и другие факторы, кроме возраста, способные влиять на выбор места ударения в кратких прилагательных.

Сфера деятельности опрашиваемого. Была предпринята попытка определить, есть ли различия между произношением носителей литературного произношения, имеющими техническое и гуманитарное образование. Эксперимент показал, что гуманитарии лучше чувствуют ритм речи, чем “технари”. Например, во фразах, где подряд стоит несколько кратких прилагательных с одинаковым количеством слогов *Тонки и мяжки кошки в Фарахруде* гуманитарии в кратких прилагательных ударение ставят на один и тот же слог: либо *то́нки* и *мя́жки*, либо *тонки́* и *мяжки́*. “Технари” же во многих случаях выбирали такие варианты: либо *то́нки* и *мяжки́*, либо *тонки́* и *мя́жки*.

Гендерные различия. В женской речи “младшей” нормы ударение в кратких прилагательных чаще падает на окончание, а у мужчин – на основу. *Туфли элегантны и узки́* – именно так произнесли 83% женщин и 58% мужчин в “младшей” норме. Та же тенденция обнаружилась в “средней” и “старшей” норме.

Устная и письменная формы опроса. Данный фактор также влияет на постановку ударения в кратких прилагательных. Это зависит от того, имеет ли возможность испытуемый обдумать место ударения. Если информанты читали фразы без подготовки, то это один тип произношения, но если того же человека попросить устно заполнить опросник, то он начнет задумываться, искать аналогии, вспоминать правила, и результаты постановки этого же ударения изменятся. Например, во фразе *Широки и прекрасны леса Туруханска* почти все информанты, выполнявшие задание письменно, произнесли *широ́ки*, а тот, кто делал работу устно – читал без подготовки – *широки́*.

Ритмические условия. Данный фактор также проверялся в ходе эксперимента, и в результате выяснилось, что ритмические условия во фразе влияют на место ударения в слове. Это хорошо видно на примере, когда краткое прилагательное находится в середине фразы. Если перед ним стоит слово, у которого ударение падает на первый слог (например, *очень*), то ударение в кратком прилагательном также будет падать в большинстве случаев на первый слог: *Горные реки очень бы́стры, поэтому по ним трудно сплавляться*. А если ударение в слове, предшествующем краткому прилагательному, падает на второй слог (*всегда́*), то и в кратком прилагательном оно в большинстве случаев также будет падать на второй слог: *Всегда́ бы́стры и опасны реки на горном хребте Тарбагатай*.

Важно отметить, что данный фактор действует во всех возрастных группах – в “младшей”, “средней” и “старшей”.

Семантика прилагательного. Как было отмечено Р.Ф. Касаткиной, ударение в кратких прилагательных может зависеть от их семантики [7]. Например, в предложениях *Игольное ушко слишком узко для пожилых людей* и *Ущелье узко, поэтому туда трудно попасть* слово *узко* акцентировалось по-разному: в первом случае прилагательное имеет значение “чрезмерной степени выраженности признака” и тяготеет к флективному ударению (*у́зко*), во втором случае в значении “констатация признака” фиксировались варианты места ударения (*у́зко* и *узко́*) при предпочтительности первого варианта. То же наблюдается и у слова *важны* – “значительны” и со значением “величественны”: *Девушки на празднике в городе Кочечум были особенно статны и важны* и *Всегда важны проблемы, связанные с дальнейшими жизненными планами*. Дикторы в первой фразе чаще ставили ударение на первый слог (*ва́жны*), а во второй информанты каждой группы ударение в основном ставили на второй слог (*важны́*).

Кроме того, был выявлен круг многозначных прилагательных, которые также могли иметь различия в акцентуации в зависимости от первичного или вторичного значения.

Для изучения этого вопроса был проведен еще один специальный орфоэпический эксперимент. Информантам были предложены опросники, содержащие 13 кратких прилагательных в разных значениях – в первичном и вторичном. Предполагалось, что место ударения может разграничивать эти значения. Например, слово *близкий* имеет значения 1) находящийся неподалеку, на небольшом расстоянии; 2) коротко знакомый, связанный дружескими отношениями. Например: *Маленькие городишки территориально близки друг к другу* и *Отношения между людьми там не так близки, как в каком-либо провинциальном городке*. В первой фразе в слове *близки* фиксировались варианты ударения (*близкий́* и *близки́*); во втором случае абсолютно преобладал вариант *близкий́*. Аналогично вели себя и другие прилагательные с подобной системой значений (*далёкий, дорогой, мягкий, серый* и пр.).

Кроме того, в данном эксперименте также учитывались факторы, влияющие, как уже выяснилось ранее, на выбор места ударения. Исследование показало, что гуманитарии чаще маркируют разницу между значениями слова местом ударения, чем “технари”. Также информант, письменно заполнявший опросник и, следовательно, имевший возможность подумать, чаще отражал разным местом ударения различие в значениях кратких прилагательных, чем информант, читавший текст устно и без подготовки.

Как показали результаты проведенного исследования, место ударения в формах краткого прилагательного в современной речи во многом отличается от тех рекомендаций, которые приводятся в словарях, и зависит от целого ряда факторов – социолингвистических и языковых. Среди социолингвистических значимыми являются возраст, пол и тех-

ническое/гуманитарное образование информанта. Среди языковых – устная или письменная форма сбора информации, ритмические условия во фразе, разные значения одного и того же слова.

Некоторые из этих изменений уже кодифицированы, но большинство из них наблюдается пока только на речевом уровне. Это позволяет говорить о необходимости пересмотра отдельных произносительных рекомендаций словарей в области акцентуации кратких прилагательных.

Литература

1. *Панов М.В.* Из наблюдений над стилем сегодняшней периодики // *Язык современной публицистики* / Отв. ред. М.В. Шульга. М., 1988.
2. *Агеенко Ф.Л., Зарва М.В.* Словарь ударений русского языка / Под ред. М.А. Штудинера. М., 2000.
3. *Еськова Н.А.* Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударение. М., 1994.
4. *Ильина М.Р.* Нормы постановки ударения в кратких прилагательных в современном русском языке // *Вариативность в литературном произношении. Борьба вокруг нормы*. М., 2006.
5. *Толковый словарь русского языка* / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1940.
6. *Штудинер М.А.* Словарь образцового русского ударения. М., 2004.
7. *Касаткина Розалия.* О некоторых акцентологических изменениях в современном русском языке // *Acta Universitatis Nicolai Copernici*. М., 2004.

Стереотип учителя и учительницы в массовом сознании

© В. А. ВЛАЙКОВА

В последнее время понятие *стереотипа* активно входит в круг лингвистических исследований. *Стереотип* – это устойчивое, обобщенное, чаще всего предвзятое представление (“образ в голове человека”) [1. С. 134] о том или ином народе, профессии, возрасте и т.д.

Остановимся на некоторых профессиональных стереотипах – устойчивых, нередко субъективных представлениях о людях какой-либо профессии. Возникающие при этом признаки закрепляются за названиями профессий: артист – *легкомысленность, притворство*; сапожник – *примитивность, неквалифицированность*; чиновник – *бюрократизм, формализм* и т.д.

Существует ли стереотип *учителя и учительницы* в массовом сознании современного российского общества? Есть ли между ними существенные различия?

Базовые оценочные характеристики этой профессии – *образованность, воспитанность, интеллигентность, требовательность, доброта, любовь к детям, высокие морально-этические установки*. Таким на протяжении многих веков был и остается образ учителя, что закрепилось в литературном языке в образовании у названия профессии метафорического значения “человек, обладающий высоким авторитетом в какой-л. области”: [“Художник” ставил себе в *учители* одного божественного Рафаэля” (Гоголь. Портрет)].

В разговорной речи название профессии нередко используется для обозначения “того, кто наставляет, поучает кого-либо, передает свои знания” [БАС]: “Всему этому делу *учитель* и заводчик был уездный наш лекарь” (Салтыков-Щедрин. Губернские очерки).

Подобные номинации могут приобретать шутливо-иронический оттенок: “...он настойчиво твердил...как бы следовало все это устроить. Твердил настойчиво, упрямо. – Да, что за *учитель* нашелся такой? – говорили ему” (Гарин. Волк).

Глагол *учить* давно используется в значении “давать советы, поучать” [БАС] чаще всего с негативной окраской: “Ах ты, молокосос! Давно ли был свинопасом-то? Туда же, *учить*” (Писемский. Тюфяк).

Таким образом, у названия профессии появились признаки: *склонность к поучению, наставлению, строгость, педантичность*, которые возникли на основе содержания учительской деятельности. Это от-

разилось в языке в виде метафорических адъективных сочетаний, типа *учительская нотка, учительский тон, взгляд*, а также в употреблении наречий в метафорическом значении: “Мальчик *учительски* поправил его. – Это не в губернии, а в Сибири” (Горький. Жизнь Матвея Кожемякина), а также в виде сравнительных оборотов, основанных на использовании наиболее ярких профессиональных качеств учителя: “Через мгновение настоящий ученый попугай взлетел на верхушку мачты, строго, как учитель, поглядел на ребят и вдруг сказал...” (Дружков. Волшебная школа).

Встречаются метафорические сочетания с родительным сравнения *лицо учителя (учительницы), тон учителя, взгляд учителя*, которые предназначены для того, чтобы “дать яркую образную характеристику какому-либо свойству действующего лица через определенный (социальный, возрастной, моральный) тип человека” [2]: “Если читателю покажется, что я впал в тон учителя – читатель будет не прав” (Горький. Заграничные впечатления).

Учитель в массовом сознании – это не безликий представитель профессии. Ему присущи определенные внешние особенности: это мужчина в строгом, чаще всего старомодном костюме, преимущественно с очками: “Учитель черчения Михаил Васильевич Постников. Настоящий гимназический учитель.... Он как бы вымуштрован – ходит ровно, не качаясь. Следит за собой. Брюки всегда со складками, пиджак без пылинки, галстук как струна...” (Давыдов. Театр моей мечты).

На протяжении веков профессия учителя воспринималась обществом неоднозначно. С одной стороны, человека этой профессии уважали за образованность, ум, благородство. С другой, относились к нему снисходительно и порой презрительно, считая его мелким и незначительным человеком: “...воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиною” (Пушкин. Дубровский).

Что же можно сказать об *учителе-женщине*?

Учитель – одна из профессий, которая издавна в литературном языке имеет гендерную дифференциацию: специальное наименование для лица женского пола, профессионально обучающего кого-либо – *учительница*.

Анализ материала показывает, что у “женских” разновидностей профессий может развиваться отрицательный компонент, причем как на основе профессиональных качеств лица определенной профессии, так и на основе негативных внешних ассоциаций.

Известно, что среди *женщин – учителей* всегда было и есть немало красивых, со вкусом одетых, удачливых в семейной жизни особ, однако в массовом сознании закрепилось иное представление об *учительнице*: это чаще всего некрасивая старая дева, старомодно одетая, в очках, с пучком на голове; она строга, придирчива, обычно громко говорит.

Устойчивое представление о внешности учительницы проявляется в следующих языковых конструкциях:

в сочетании названия профессии с синтаксическим распространителем, "который указывает на сферу приложения образной характеристики лица: *внешне, с виду, по лицу, по наружности, по манерам, по духу* и т.д." [З. С. 145]: "... На пороге – молодая женщина в осенней куртке. По виду – школьная учительница, т.е. немного старая дева. Правда, без очков, зато с коленкоровой тетрадью в руке" (Довлатов. Чегодан);

в адъективных сочетаниях прилагательных *вылитая, настоящая, типичная* с названием профессии (*учительница*) или ее разговорно-просторечными производными *учителка* (нар.- разг., БТС), *училка* (пренебр., БТС), *учительша* (простореч., БАС): "В проем на выбраковщиков глядело некрасивое сморщенное личико – жидкие бесцветные волосы, тяжелые очки. Типичная училка из числа люто ненавидимых школьниками (Дивов. Выбраковка);

в сравнительных оборотах, чаще всего основанных на взаимосвязи между особенностями внешности учительницы и профессиональными качествами учителя в целом. При этом сравнительные обороты могут не иметь явно выраженной экспрессивной окраски: "По вторникам возил Фриду в парикмахерскую, откуда она выходила с аккуратно уложенными седыми локонами, строгая и правильная, как учительница" (Елизавета Алканская. Кредитная история // Вестник США. 2003. 3 сент.). И напротив, включать в свой состав яркий негативный признак: "Она в своей коричневой форме, только без передника и без белого воротничка, такая строгая и скучная, как учительница" (Осеева. Динка).

В языке встречается немало сравнительных оборотов, которые могут указывать не только на типичные особенности внешности учительницы, но и на ее профессиональные качества, которые могут быть также присущи и учителям-мужчинам: "Охотнее всех откликнулась на его просьбу Алина; она поправляла его речь обстоятельно, как учительница" (Осеева. Динка).

При сопоставлении внешних особенностей *мужчины и женщины-учителя* в языке можно выделить несколько общих признаков: *скромность, строгость, старомодность*, а также профессиональные качества.

Однако у *учительницы* в большей степени проявляются *строгость, громогласность (порой склонность к повышенным тонам), принципиальность, недоброжелательность, ограниченность в восприятии явлений действительности*.

В целом стоит отметить, что у профессии *учительница* в настоящий момент активно распространяются негативные шутивно-иронические оценки, что можно заметить по частому использованию этого образа в анекдотах, комедийных телепередачах, фильмах: "Появляется Юппер – синий чулок, злобная училка в очках – зал хохочет" (Известия. 2002. 21 янв.).

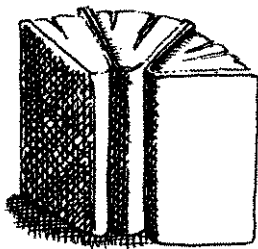
В школьном и студенческом жаргоне зафиксировано немало специальных наименований *учителя* и *учительницы*, причем здесь эти номинации имеют четкую гендерную и предметную дифференциацию и шутливо-иронический или пренебрежительный характер. Они чаще всего возникают на основе названия предмета: *русачка*, *русичка* (учительница русского языка), *химоза* (учительница химии) и др.; содержания предмета: *тычина*, *тычинка* (учительница биологии); *самец* (учитель биологии), *самоделкин* (учитель труда), *молекула*, *селитра* (учительница химии) и др. При этом в жаргоне значительно больше “женских” наименований, но это, на наш взгляд, не столько показатель особого негативного отношения именно к профессии *учительница*, сколько отражение особенностей социального устройства общества, в котором подобную работу выполняют преимущественно женщины.

Таким образом, стереотип *учителя* и *учительницы* претерпевает значительные изменения в настоящее время. В большей степени они касаются именно женской разновидности этой профессии, что, на наш взгляд, связано с современными социальными условиями. *Женщина-учитель* – сегодня малопривлекательный образ для современной молодежи. *Мужчина-учитель* теряет негативный оценочный компонент, но сохраняет “классические” качества учителя в целом, которые изначально и легли в основу образования у названия этой профессии переносного значения.

Все это позволяет нам говорить о подвижности коннотаций у некоторых названий профессий, особенно у тех, которые имеют гендерную дифференциацию. Она обусловлена, на наш взгляд, экстралингвистическими факторами, но последовательно проявляется в речи, отражая тесную взаимосвязь языка с современными процессами в общественной жизни.

Литература

1. Бартми́нский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М., 2005.
2. Скворецкая Е.В. Синтаксические формы и средства выражения сравнения-сопоставления по сходству в простом предложении русского книжного языка XVIII ст. Автореф. ... к.ф.н. Новосибирск, 1972.
3. Ермакова О.П. О синтаксической обусловленности и синтаксической подвижности метафор // Филол. сб. (к 100-летию со дня рождения В.В. Виноградова). М., 1995.



“ТОРЖЕСТВЕННО СЕСТЬ В ЛУЖУ”

О глагольных фразеословосочетаниях

© Х. Р. МАМЕДОВА

К настоящему времени установлено, что фразеологические единицы, являясь номинативными единицами в системе языка, в процессе речи могут сочетаться как между собою (например, *болтать языком без умолку, без конца валять дурака, иметь зуб на нашего брата, закрывать глаза на круглых дураков, до поры до времени держать в черном теле, падать к ногам дамы сердца* и т.д.), так и с лексическими единицами (*не лезть в глаза экспедитору, дать по рукам вору, забивать голову ерундой, заглядывать глубоко в душу, дать по шапке бюрократам, ни разу не покривить душой* и т.д.). Первые называются фразеосочетаниями, а вторые – фразеословосочетаниями [1], [2].

Надо отметить, что эти единицы по-разному оцениваются в лингвистической литературе. Так, в статье “Простые и сложные словосочетания” В.В. Бабайцева обращает внимание на сочетание фразеологизма и слова [3]. Однако подобные сочетания относятся ею к простым словосочетаниям. В качестве примеров приводятся следующие синтаксические единицы: *бежать сломя голову, работать засучив рукава, быть мастером на все руки* и т.д.

Действительно, как сочетания они простые, потому что в их образовании присутствуют два компонента, как и в обычных словосочетаниях, например, *высокий стол, читать стихи, петь громко* и т.д. Но если простые словосочетания образуются соединением лексических единиц, то сочетания типа *бежать сломя голову, быть мастером на все руки* и т.д. возникают в результате соединения лексических и фразеологических единиц.

Наблюдения показывают, что фразеологизмы образуют такие типы синтаксических единиц, как фразеословосочетания и фразеосочетания. Фразеословосочетаниями называются единицы, которые возник-

ли в результате соединения фразеологизма со словом [2]: *раскрыть душу брату, возвращать к жизни солдата, глядеть в рот оратору, оставить в дураках водителя, злобно сверкать глазами, плохо владеть пером* и т.д. (Примеры, использованные в этой работе, заимствованы из "Фразеологического словаря русского языка") [4].

В зависимости от того, с какой частью речи соотносится фразеологизм – главный компонент, наиболее частотны именные (*ахиллесова пята Оуэна, родимые пятна капитализма, гордые узлы отношений, настоящий морской волк, моя заблудшая овечка* и т.д.) и глагольные (*сесть на шею родителям, резать друга без ножа, перевозносить до небес хозяина, сбить учителя с панталыку* и т.д.) синтаксические единицы.

Глагольные фразеословосочетания являются наиболее продуктивными, многочисленным морфологическим разрядом. Здесь фразеологизмы сочетаются с именами (*Он будет выводить всех на чистую воду, срывать с интриганов маски. Чехов. Интриги*); с местоимениями (*Что угодно скажи, но чтобы поверили, что мы у тебя в печенках сидим. Симонов. Русские люди*); с наречиями (*У Евгения мелькнула мысль: может быть, Бородулин сознательно сгустил краски, говоря о недостатках в цехе. Укусов. После войны; А о чем же веселом и игривом думать? – спрашивала Нелли. Доктор немедленно становился в тупик. Достоевский. Униженные и оскорбленные*).

Встречаются и такие случаи, когда одна и та же фразеологическая единица распространяется двумя именными компонентами (*Какой-нибудь помощник столоначальника совал ему под нос бумаги. Гоголь. Шинель*).

Глагольный фразеологизм может одновременно сочетаться с именными и наречными словами (*Лжете вы! – крикнула барыня и злобно сверкнула на нее глазами. Мне все известно. Чехов. Хористка*); *Слезы Зинаиды совершенно сбили меня с толку... Тургенев. Первая любовь*).

Следует различать простые и сложные глагольные фразеословосочетания. Простые делятся на двухкомпонентные и трехкомпонентные.

Двухкомпонентные образуются на основе одиночного управления (*бить купцов по карману, резать глаза ненаучностью, сводить к нулю работу, есть глазами клиента, болеть душою за родину*); примыкания (*наильно вбивать в голову, торжественно сесть в лужу, сразу воспрянуть духом, тотчас сдержат себя, давно войти в пословицу, поневоле повесить голову, беспрестанно вертелось в голове*). К простым двухкомпонентным фразеословосочетаниям следует относить и такие случаи, когда один из компонентов глагольной фразеологической единицы распространяется словом, т.е. слово относится не к словосочетанию в целом, а к одному из его составляющих: *раскрыть свою душу, посадить на мою шею, сверкать сердитыми глазами, сидеть на чужом горбу, смежить свои очи, сдернуть блистательные покровы, совать голову в воровскую петлю, вертеть лисьим хвостом* и т.д.

Простые трехкомпонентные фразеословосочетания образуются на основе двойного управления, исходящего от одного и того же стержневого компонента: *не видеть вам денег как своих ушей, совать ему под нос бумаги, дураку его в толк не взять, бог не обидел нас памятью, вкладывать речи мне в уста* и т.д.

Сложное фразеословосочетание – это такая синтаксическая единица, которая образовалась в результате распространения словом или словами одного из компонентов простого двухчленного или трехчленного фразеословосочетания: *резать глаза своей ненаучностью, сводить к нулю нашу работу* и т.д.; *смело распахнуть душу перед тобою, совершенно сбить с панталыку учителей; посадить детей на свою шею, сдернуть с него блистательные покровы, сослужить своей благодетельнице великую службу; совать ему прямо под нос, не видеть вам никогда своих денег, вкладывать горькие речи в уста детей* и т.д.

В данной заметке лишь тезисно рассмотрена структура глагольных фразеословосочетаний. Вопрос о простых и сложных глагольных фразеословосочетаниях, конечно, не может ограничиться сделанными замечаниями.

Литература

1. Гольмагомедов А.Г. Словосочетания, фразеословосочетания, фразеосочетания как минимальные синтаксические единицы // Коллоквиум Европейского общества кавказоведов. 20–22 июня 2002 г. М., 2002.
2. Гольмагомедов А.Г. К вопросу о теории фразеосочетаний (на материале русского языка) // Вопросы филологии. 2004. № 3.
3. Бабайцева В.В. Простые и сложные словосочетания // Русский язык в школе. 2007. № 4.
4. Фразеологический словарь русского языка. М., 1978.

Язык рекламы



РЕКЛАМА ДЛЯ НЕГО ИЛИ ДЛЯ НЕЕ?

© Е. Д. НАЗАРОВА

Реклама вездесуща, в газетах и журналах, на улице и в транспорте мы можем встретить тексты наподобие *Persil. Сильный против пятен, нежный для кожи* или *СТРИМ – Интернет. ТВ без проводов и тарелок! Настоящий мужчина не возится с тарелками*. Однако на некоторые рекламные тексты мы обратим внимание, другие же просто не заметим. Почему так происходит?

Создатели рекламы стараются по возможности точно адресовать свои тексты, ориентируясь на целевую аудиторию, выделенную по разным признакам: возраст, пол, профессия, хобби и мн. др. Человек, не входящий в целевую аудиторию, может игнорировать рекламное сообщение, но если он принадлежит к той или иной группе, текст должен задеть его – иначе не выполнит свою задачу.

Одна из важнейших характеристик адресата – его гендерная принадлежность. Под *гендером* в современных гуманитарных науках понимают социокультурный пол, то есть набор социальных представлений о том, что характерно для женщин и что – для мужчин [1, 2, 3, 4]. Усваиваемые в обществе нормы и стереотипы “мужского” и “женского” поведения определяют, помимо прочего, способы гендерной адресации текста. Под *гендерной адресацией* мы понимаем направленность некоего текста представителю того или другого пола, она может быть выражена как в содержании, так и в форме высказывания [5].

Какие представления о мужчине и женщине позволяют создавать тексты соответствующей направленности? Каковы языковые сред-

ства, используемые для создания гендерно адресованной рекламы? Например, реклама, представляющая товары, связанные с биологическим полом человека, всегда гендерно адресована. Как правило, это сведения о продукции, связанной с вопросами мужского или женского здоровья, гигиены, для женщин – с темами беременности и рождения детей и т.д. Так, тематически обозначены тексты, посвященные мужскому здоровью: *Простомол уно. Просто будь мужчиной!* Так же однозначно адресована реклама специфически женских средств гигиены: *Такой надежной защиты еще не было! Лучшее защита. Лучшая цена. Always.*

Однако наряду с товарами, предназначенными для удовлетворения специфических биологических потребностей мужчин или женщин, существует довольно обширный круг рекламируемых товаров и услуг, назначение которых определяется гендерными стереотипами – одежда, парфюмерия и косметика, техника в значительной мере становятся “мужскими” или “женскими” не из биологических, а из психологических соображений. Тексты рекламы, предлагающей именно этот круг товаров, представляют особый интерес с точки зрения того, как гендерная адресация определяет форму и содержание высказывания.

Рассмотрим несколько примеров гендерно адресованной рекламы. Обращенная к женщинам: *Чтобы почувствовать себя королевой, надо просто себя ею почувствовать... Шубы De La manie. Позволяющая роскошь. Снежная королева.* Сам товар – шубы – не относится к вещам, имеющим гендерные ограничения в применении, ими могут пользоваться как женщины, так и мужчины. Однако в этом примере есть лексический показатель женского гендера “королева”, “ею”. Кроме того, мы видим и другой показатель – тему одежды и женской красоты.

Адресованная мужчинам реклама делает гендерно нейтральный товар – автомобили – привлекательным для мужской аудитории: *Искусство быть успешным. Hyundai* (Автомир. 2007. 22 сент.). Реклама содержит показатель грамматический (“успешным” – мужской род) и тематический – тема успешности. Нельзя сказать, что тема успеха не может быть актуальна для женщин, но в рекламе, адресованной женщинам, она встречается очень редко.

Среди лексических показателей гендерной адресации следует выделить группу терминов родства, особенно те слова, которые имеют отношение к браку: *муж, жена, тесть, теща, свекровь* и т.д.: *Приехала теща? Она ни на минуту не оставляет Вас в покое – советует, контролирует, учит жить, а главное, она совсем не спешит с отъездом. Отправьте тещу на море, наконец-то расслабьтесь. Все, что для этого нужно – кредитная карта Visa, и Вы сможете купить путевку, не дожидаясь зарплаты. Не откладывайте отдых на будущее. Visa. То, что вам нужно.* Здесь дается открытый совет мужчине, как себя вести с тещей, чтобы она долго не была в гостях. Реклама, с одной стороны, проявляет сочувствие и понимание, с другой – реализует свой замы-

сел: выход из ситуации найден – воспользуйтесь услугами кредитной карты.

“Волга” – как жена. Родная. Верная. Понимающая. В тексте создается образ автомобиля как хорошей жены, родного человека, который должен вызвать у мужчины теплые чувства к марке отечественного автомобиля (вместе с культурной ассоциацией “Волга-матушка”: свое, родное).

Следует учитывать, что мужской род слов, обозначающих адресата, не является абсолютным показателем адресации, а может быть гендерно нейтральным: *Пустырник форте. Стань хозяином своих эмоций! Эвалар; Банк Стройкредит. Как получить до 12% годовых в новом году? Вклад новогодний. Подарок каждому вкладчику!* Эти тексты могут быть адресованы как мужчине, так и женщине. В подобных случаях следует обращать внимание также на наличие других гендерных показателей, однако в использовании такого “нейтрального” рода может быть заключен и замысел авторов, не желающих ограничивать аудиторию – тогда других показателей социального пола в тексте не обнаружится.

Адресация рекламного текста может быть выражена в авторизации текста или сопрягаться с ней. Хотя рекламный текст по сути своей не имеет автора как персональной фигуры, значимой для адресата, однако в рекламе может использоваться рекомендация, положительная история, совет конкретного человека, того, кто имеет влияние, воздействие на аудиторию. При этом товары, предназначенные для лиц определенного пола, обычно рекламируют представители того же пола. Для мужчин – это могут быть любимые артисты-мужчины, спортсмены, политики и др. Для женщин – участие известной актрисы, певицы и т.д. Например, изображенный на фотографии актер А. Булдаков выступает в роли авторитетного человека: *Тосол Sintec. Рекомендую, мужики!* Адресат этого рекламного текста выражен словом “мужики!”, это пример прямой адресации. Следует отметить стилистически сниженный характер обращения, подчеркивающий некоторую грубоватость, ассоциируемую с мужественностью, которую несет в себе и сам образ артиста.

Мы можем отметить, что авторизованным может быть также текст рекламы, использующий собирательный образ “автора” – мужчины или женщины из народа. Это образ домохозяйки или хозяина дома, дачи, автомобилиста. Приписываемый “среднему человеку” текст также может быть гендерно маркированным: *Автострахование. Все правильно сделал. Росгосстрах.* Текст адресован мужчине с помощью грамматического рода глагола *сделал*, а также темой страхования машины. Или женщины-домохозяйки предлагают маску для кожи, которую можно сделать самой на основе компонентов, имеющихся дома, но лучше – купить в готовом виде: *... Что может быть лучше домашних рецептов в удобной упаковке? Сто рецептов красоты.*

Отсутствие явно выраженных лексических, грамматических или тематических показателей не всегда означает, что реклама гендерно нейтральна. Текст может опираться на стереотип, на сложившийся в обществе образ женщины и мужчины. В примере *Сильный против пятен, нежный для кожи. Persil* отсутствуют явные показатели гендерной адресации, но мы опираемся на стереотипное представление о том, что женщины больше работают по дому, чаще стирают, поэтому стараются быть внимательнее к коже рук, заботиться о них.

“Женский” рекламный текст может напоминать по форме женскую коммуникацию: многословность, экспрессия, большое количество восклицаний, междометий и т.д. Например, компания *Bourjois Paris* в телевизионной рекламе часто использует имитацию женского “щебетания”: *Подчеркни выразительность взгляда!*

— *Ах, какой взгляд!*

— *Невозможно оторваться!*

Bourjois Paris.

Реклама, адресованная мужчине, более сдержанна, отражая мужскую немногословность и меньшую, чем у женщин, эмоциональность: *Достоинство, энергия, видение. Ароматы для мужчин от Boss. Они были первыми! Они среди первых. Они навсегда... Kanhels.*

Можно также отметить тексты, в которых текстообразующим моментом является интрига ожидания/появления *ее* или *его*: реклама строится на нарушении коммуникативных правил употребления местоимений третьего лица, обычно отсылающих к предыдущему слову или тексту, но в рекламе зачастую создающих ложную отсылку. При этом первое, что приходит на ум адресату: он и она — это мужчина и женщина: *Для него. И для нее. Hugo Boss.* Очень часто, привлекая мужскую аудиторию, авторы создают женский образ, говорят о *ней*, а стараясь привлечь женское внимание, говорят о *нем*: кухонному комбайну приписывают свойства умельца: *Чего он только не умеет! Kenwood Multi-Pro. Точно по рецепту. Kenwood. Готовить одно удовольствие.* Авторы рекламы *Она родом с Дальнего востока. Она из благородных сортов рыб: кеты, горбуши, нерки.* по всей видимости, адресуются преимущественно к мужчинам.

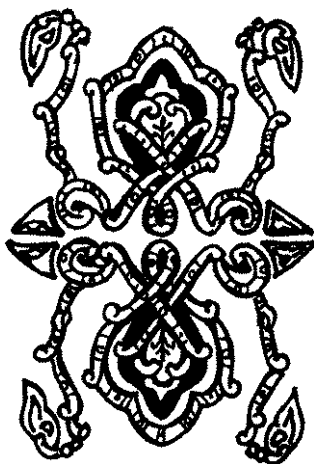
Итак, в современной печатной и телевизионной торговой рекламе гендер адресата является существенным фактором и может выражаться лексическими, грамматическими средствами и тематикой текста. Гендерно адресованный рекламный текст может также иметь косвенную маркированность, опирающуюся на традиционные представления о мужчине и женщине, в то же время формирует новые стереотипы, навязывая новые потребности покупателям: косметика для мужчин, техника для женщин и т.д. Например, реклама *На устранение первой седины в домашних условиях твоя подруга может потратить целый час, а тебе будет достаточно пяти минут с новым ухаживающим тони-*

рующим гелем *Men Perfect om Schwarzkopf*. Не стесняйся ухаживать за собой, просто эконошь время для более важных вещей учит мужчину следить за своей внешностью, обещая ему при этом, что он останется мужчиной – энергичным, решающим свои проблемы просто и эффективно, и что немаловажно – быстрые подружки.

Так реклама пользуется представлениями о мужчине и женщине, существующими в обществе, чтобы включать продвигаемые товары и услуги в нашу повседневную жизнь: “настоящие женщины” покупают одно, а “настоящие мужчины” – совсем другое...

Литература

1. Кирилина А.В. Развитие гендерных исследований в лингвистике // Филол. науки. 1998. № 2.
2. Крейдлин Г.Е. Мужчина и женщина в невербальной коммуникации. М., 2005.
3. Потапова Р.К., Потапов В.В. Гендерная проблематика в языкознании // Потапова Р.К., Потапов В.В. Язык, речь, личность. М., 2006.
4. Халеева И.И. Гендер как интрига познания // Гендер как интрига познания. Сост. А.В. Кирилина. М., 2000.
5. Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. М., 2007.



***Богородичные формулы
в древнерусской литературе***

© Т. А. БОГАТЫРЕВА

В научной литературе неоднократно отмечалось использование древнерусскими книжниками стилистических формул: *воинские формулы* (А.С. Орлов [1]), *житийные шаблоны* (В.О. Ключевский [2]). Д.С. Лихачев, утверждал, что “эти стилистические трафареты являются проявлениями своеобразного средневекового писательского этикета” [3. С. 61] и связаны с определенными объектами повествования. Поэтому воинские формулы можно встретить в описании сражений в агиографической литературе, а житийные шаблоны – в эпизодах, повествующих о святых, включенных в воинские повести. Это наблюдение подтверждается формулами, связанными с образом Богородицы, которые используются в произведениях различных жанров.

Наиболее часто появляется формула – *молитвами святых Богородица*. Пресвятая Мария предстает в традиционном образе моельницы за всех христиан: именно благодаря Ее заступничеству Бог совершает то или иное благодеяние. С точки зрения христианской традиции, чудо превращения воды в вино (Ин. 2, 1–10) Христом по просьбе Марии в Кане Галилейской открыло ряд милостей, из века в век оказываемых по молитвам Богоматери.

Еще одна формула – *милость Божия и Пречистых Богородицы* и ее вариант *милостью Божию и пречистых его Матери*, где существительное *милость* стоит в творительном падеже, видимо, по аналогии с

более распространенным оборотом *молитвами святыя Богородица*. Семантика слова *милость*, подразумевающая уже свершившееся благодеяние, ограничивает число возможных употреблений формулы. Например, в воинских повестях этот оборот встречается только в сообщениях о победе, в то время как *молитвами святыя Богородица* используется в эпизодах до, во время и после сражения. Например, в “Житии Михаила Ярославича Тверского” (XIV в.) рассказывается о выигранном Михаилом сражении с суздальским князем Юрием и его союзником Кавгадией: “...милостью бо святого Спаса и пречистыя его Матери и помощью великаго архангела Михаила победы великий князь Михайло...” [4. Т. 6. С. 74]. И в двух эпизодах из “Повести временных лет” (XII в.), о победе русских над половцами: “молитвами святыя Богородица и святых ангел умилисердися Бог и посла ангелы в помощь русьским князем” [4. Т. 1. С. 298]; “молитвами святыя Богородица и святых ангел, възвратишася русьстии князи въсвояси с славою великою” [Там же. С. 304]. В первом эпизоде действие происходит во время боя, во втором – после него.

По аналогии с этими формулами для описания эпизодов обращения к божественным силам, в том числе к Богородице, чаще всего используется глагол *молити* и однокоренные к нему *помолиться*, *творить молитвы*. В таких фрагментах встречаются и другие слова этой семантической группы: однокоренные *помощь*, *помогать* и *помощница* и их контекстуальные синонимы: *возложить надежду*, *уповать* и *возложить упование*, *милость* и однокоренное к нему *помиловать*. Все эти слова различаются смысловыми нюансами, но они объединены общей семой помощи и просьбы о ее получении.

Наиболее часто богородичные формулы встречаются в воинских повестях, соотнося результат сражения с помощью высших сил. Например, в летописной повести о Куликовой битве (XIV в.) в самом начале произведения читаем: “Но хотя человеколюбивый Бог спасти и свободити род христианский молитвами пречистыя его Матере от работы измалтвския...” [4. Т. 6. С. 120]. С первых строк повести читатель узнает о походе Мамай на Русь, но благодаря уже приведенному фрагменту понимает, что победа будет за русским воинством.

Узнав о нашествии, Дмитрий Донской идет в соборную церковь Богородицы и обращается с молитвой к Богу и пречистой Его Матери: “Господи... помилуй ны пресвятыя Матере молитвами, не остави нас, егда унываемы!” [Там же. С. 122]. Из Коломны князь с войском выходит навстречу татарам, “уповая на милосердие Божие и на пречистую его мать Богородицу, на приснодевицу Марию, призываа на помощь честный крест” [Там же. С. 124]. Придя к Дону, князь получает грамоту с благословением от преподобного Сергия Радонежского: “Что бы еси, господине, тако и пошол, а поможет ти Бог и святаа Богородица” [Там же. С. 126]. Перед битвой русские воины обращаются к небесным си-

лам для укрепления силы духа: “еже к Богу верою въоружився и креста честнаго силою укрепився, молитвами святыя Богородица оградився, и Богу помолися...” [Там же. С. 128]. И князь Дмитрий просит Бога о победе именем Его Матери: “Победы дай ми, Господи, на супостаты... на тя уповаючи, побежаем, молящися прилежно к пречистой ти Матери” [Там же].

После сражения Дмитрий Иванович благодарит пресвятую Марию за победу: “И ты, Богородице, помиловала еси милостию своею нас, грешных раб своих, и весь род христианский, умолила еси безлетнаго Сына своего” [Там же. С. 134]. Используемые на протяжении всей повести богородичные формулы композиционно и идейно организуют произведение, акцентируя богоданность победы русского войска. А использование разных стилистических оборотов актуализирует общую для них сему помощи и просьбы о ее получении.

При описании поражения врагов русского войска в воинских повестях использовалась еще одна формула, упоминающая пресвятую Марию, – *гоними гневом Божиим и святей Богородице*. А.С. Орлов считал [1. С. 37] этот шаблон самым стандартным из оборотов, выражающих помощь и заступничество небесных сил в описании сражений. Следует отметить, что эта формула чаще употреблялась с использованием только наименования Бога, эпизодов с Богородицей в литературе XII–XV веков всего три. Первый эпизод встречается в Ипатьевской летописи под 6691 годом, два других находятся в Лаврентьевской летописи под 6693 и 6731 годами. Все три эпизода описывают победы над половцами – извечными врагами русских. “И тако измроша убиваеми гневом Божиим и пречистыя его Матере” [4. Т. 5. С. 92]. Летописец объясняет это тем, что половцы сотворили много зла русской земле, поэтому Бог и Богородица наказали их за “кровь христьянскую” [Там же].

Такое редкое употребление данной формулы можно объяснить, исходя из представления о Богоматери как о помощнице и защитнице людей, именно поэтому упоминания о ней часто встречаются в описании победы и очень редко в ситуации поражения (даже если это поражение врагов Руси).

Часто используются богородичные формулы и в жанре житий в рассказах о вступлении на игуменство, о борьбе с темными силами, о смерти персонажа. Подобный фрагмент есть в “Житии Феодосия Печерского” (XI в.) в предсмертной молитве святого: “вся святыя призывая на помощь и наипаче же – святую владычицу нашу Богородицу, и тою Господа Бога Спаса нашего Исус Христа моля о стаде своем, и о месте том” [4. Т. 1. С. 430]. А в “Житии Авраамия Смоленского” (XIII в.) такой эпизод появляется в описании назначения Авраамия на игуменство: “Блаженный же радоваашеся и хваляше Бога, таку даровавшего благодать рабу своему молитвами святыя Богородица” [4. Т. 5. С. 54].

Употребляются рассматриваемые формулы в патериковых повестях и сказаниях об иконах. Например, в Киево-Печерском патерике (XIII в.), в рассказе об основании обители: “И нача Бог умножити черноризцеи молитвами пресвятыя Богородица и преподобнаго Антониа” [4. Т. 4. С. 320]. В этом фрагменте автор отмечает заботу Богоматери об увеличении монастырской братии, что указывает на Ее особое расположение к монастырю и его обитателям.

Помощь Бога и Богородицы нужна и для преодоления мирских опасностей. Остафей в сказании о перенесении образа Николы Чудотворца из Корсуня в Рязань (XIII в.) просит небесные силы о поддержке в сложном и опасном путешествии: “Остафей нача молити всемилостиваго Бога и пречистую его Матерь и великаго чудотворца Николу, чтобы ему по чудотворьцеву изволению получитьи желание свое” [4. Т. 5. С. 134].

Часто использовались устойчивые стилистические обороты в посланиях, особенно в заключительном пожелании всех благ. Например, письмо к великому князю Василию Дмитриевичу (XV в.) чудотворец Кирилл заканчивает обращением к небесным силам: “А милость Божия и Пречистыя Богородицы на тебе, на моем господине, на великом князе Василье, да будет” [4. Т. 6. С. 428]. В послании к князю Юрию Дмитриевичу Кирилл желает князю ниспослания разума посредством милости Богоматери: “А Пречистая Богородица, Владычица наша, помилует тя, и покрыйт тя ризою своею честною, и наставит тя в разум истинный, и управит тя во царствии Сына своего...” [Там же. С. 432].

Приведенные нами формулы по структуре делятся на две группы. В одних центральной составляющей является наименование Богоматери – *молитвами святыя Богородица*, в других – Бога и Богородицы – *милость Божия и Пречистыи Богородици*. После основного структурного элемента могут следовать дополнительные компоненты, одинаковые для обеих групп: *сила честнаго хреста, святыя ангелы*, имя святого или святых, всех святых.

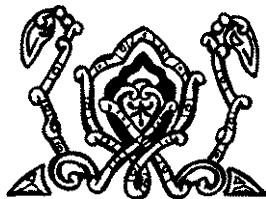
Например, в “Повести временных лет” в благословении Антонием братии: “молитвами святыя Богородица и сущих отец, иже в Святей Горе, да будет с вами” [4. Т. 1. С. 201]. В “Житии Авраамия Смоленского” формула усложняется – к имени святого прибавляется формула *всех святых*: “молитвами святыя Богородица и преподобнаго ради Авраамия и всех святых его” [3. С. 54]. Встречается и сужение обобщенного *всех святых* до *руських чудотворцев*. Такой эпизод есть в “Сказании о Мамаевом побоище” (XV в.), где уже подзаголовок произведения соотносит победу русского войска с молитвенной помощью Богоматери: “Начало повести, како дарова Бог победу государю великому князю Дмитрею Ивановичу за Доном над поганым Мамаем, и молением пречистыя Богородица и русьских чудотворцев православное христианство русскую землю Бог възвыси, а безбожных агарян посрами” [4.

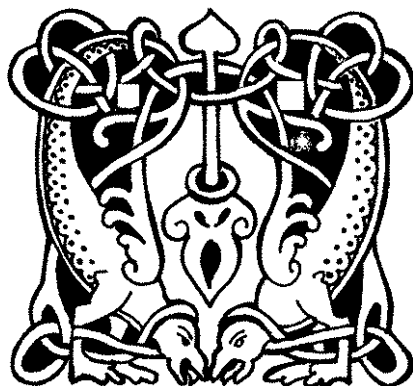
Т. 6, С. 138]. Примечательно указание на помощь именно русских чудотворцев в повествовании о первой значительной победе Руси над татаро-монголами.

Наличие стилистических формул, упоминающих Богородицу, указывает на существование ее культа. Начиная с XII века богородичные формулы обнаруживаются в произведениях разных жанров. Богородица, по свидетельству рассмотренных памятников, помогает отдельным людям и всему народу в преодолении тягот монашеской жизни и в разрешении мирских проблем.

Литература

1. Орлов А.С. Об особенностях формы русских военных повестей (кончая XVII в.). М., 1902.
2. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.
3. Лихачев Д.С. Великое Наследие // Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. Л., 1987. Т. 2.
4. Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д.С. Лихачева: В 20 т. СПб., 1997.





“Блаженный Христов воин”

Изображение Михаила Ярославича Тверского в житии

© Е. А. АНДРЕЕВА

Яркое описание исторических событий, богатство литературных реминисценций делают “Житие Михаила Ярославича Тверского” значительным явлением общерусской литературы [1. С.7].

Все составляющие текста этого памятника XIV века служат главной задаче: прославить подвиг Михаила Ярославича, показать святость героя и несправедливость, жестокость и корыстолюбие его врагов. Главный герой жития – князь-воин и в то же время мученик, пожертвовавший собой ради сограждан-христиан. Он характеризуется через тот завет, что воспринял из Евангелия и сделал своим жизненным постулатом: *положить жизнь свою за други своя* [2. С. 126]. Именно в этих словах заключена жизненная позиция героя: пожертвовать собой ради других. Это идеальный персонаж, в изображении которого с первых строк жития возникает образ венца – символа мученичества, высшей степени святости. Князь причисляется к тем, кто “тело свое предаша на поругание оузам и темницам и ранам, конечное кровь свою проливающе, восприимаху царство небесное и венец неувядаемый” [2. С. 126].

Сын великого князя Ярослава Ярославича и княгини Аксиньи, Михаил Ярославич в своей семье видел образцы подобного поведения. Его дед по отцовской линии, Ярослав Всеволодович, пострадал в Орде за христиан, а согласно одной из гипотез, прадедом по материнской линии был Михаил Черниговский, погибший в Орде за православную веру и причисленный к лику святых.

Родители воспитали сына “в страхе господни и наоучи святым книгам и всякой премудрости” [2. С. 130], в соответствии с наследным правом он стал великим князем, первым из русских князей принял титул “великого князя всея Руси”. Но коварный и бесчестный московский князь Юрий Данилович лестью и коварством отвоевал для себя ярлык. Узнав об этом, тверской князь не предпринял никаких действий, чтобы вернуть его обратно. Кроткий и справедливый, Михаил Ярославич в тоже время оставался твердым и решительным в своем намерении не допустить гибели своих сограждан, подданных, разорения своих земель.

Юрий Данилович бросил ему вызов и с войском пошел на тверские земли. Михаил вынужден был встать на защиту своего княжества. Тверской князь идет на битву, так объясняя свой поступок: “Нам же не за один друг, ни за два положить душа своя: селико народа в полону, а нини избии сущи, жены же и дщери осквернены сущи от поганых, а ныне мы иже за толика народа положим своя душа. Да вменится нам слово господне в спасение” [2. С. 135–136].

Михаил Ярославич в противоположность своим врагам добродетелен и милосерден, он прощает своих неприятелей: совершает обряд крестцелования с Юрием Даниловичем, отпускает с миром татарского посла Кавгадыя. Враги, видя незлобивость князя, ожесточаются еще больше и лжесвидетельствуют на него в Орде.

Воссоздать духовный облик героя агиографа помогает использование различных языковых средств, например эпитетов: *благочестивый и христолюбивый великий князь; блаженный и христолюбивый великий князь; блаженный Христов воин; благочестивый великий князь Михаил; непорочный Христов воин; истинный... Христов страдалец.*

Через восприятие героя тверичами, которые “не можаху разлучитися от ангелообразнаго възора, красныя светлости его и святого лица его, не могуще насытитися медоточнаго оучения его” [2. С. 140–141] и с помощью эпитетов переданы отдельные портретные черты Михаила. Таким образом создается облик идеального героя.

Правдивый и искренний, Михаил Ярославич не находит поддержки на суде в Орде, где его обвиняют в укрывательстве дани, битве с ханским послом, в смерти жены Юрия Московского Кончаки. Только к Богу может обратиться князь свои мольбы, попросить защиты и покровительства у высшего судии. Но делает он это лишь наедине с самим собой. Со своей дружиной, прибывшей с ним в Орду, Михаил Ярославич ведет себя иначе: “В день же бяше всегда видети светлым веселым възором, словесы сладкими и веселыми тешаше дружину свою” [2. С. 147]. Скрывая свое истинное душевное состояние от верных подданных, тверской князь проявляет выдержку и силу воли. В этом фрагменте в полной мере проявляется его забота о людях, ради которых он и решил пойти на страдания, не страшась смерти, готовый принять мученическую кончину.

Для описания психологического состояния героя, его чувств и их проявлений автор жития использует метафоры, характеризующие состояние души тверского князя в период заключения в Орде: *очищая душу; исполнився смирения; тягота отъидет; приму покои; словеса положи на сердци; прообразующе ему поносную муку прияти; прияти начяток мучения; предаст святую свою блаженную душу в руке господни; прият венец неуведомши; течение съверши; веру съблюди*. Они же характеризуют Михаила Ярославича как святого, не случайно две последние из них заимствованы из Второго послания к Тимофею апостола Павла (4; 7).

Большинство метафор не являются собственно авторскими. Одни заимствованы из текста Священного Писания, другие представляют собой “общие места”, встречающиеся в житийном жанре. Опора на существующую традицию отразилась на подборе художественных средств. Агиограф создает житие в русле житий о князьях-мучениках. Отсюда наличие характерных топосов: желание полного уподобления Христу – вплоть до мученической смерти – *прият страсть*; восприятие смерти святого как уподобления страданиям прежних мучеников Христовых – *яко же сии... князь Михаило Ярославич, свое царство оу месты вменив, остави, прият страсть нужную, положи душу свою за други своя...* [3. С. 68].

Прибегая к данному приему, агиограф вводит князя в круг героев житийной литературы, раскрывает не столько его индивидуальные черты, сколько те, что роднят Михаила Ярославича с другими святыми.

Для раскрытия чувств главного героя, его душевного состояния, когда он заточен в Орде, сидит в темнице с колодкой на шее, агиограф использует сравнение, например: *испущая от очю, яко реку, слезы; Се бо минуша, яко дым, дние мои; Приидох бо семо, яко в глубину морскую, аки буря потопи мя* [2. С. 145]. На протяжении всего текста жития агиограф использует этот прием: он сравнивает тверского князя с Дмитрием Солунским, Борисом и Глебом, Михаилом Черниговским, а также с персонажем Библии Иовом, отражая тем самым различные грани духовного подвига Михаила Тверского.

Глубже раскрыть образ героя помогает агиографу и другой прием – противопоставление: *Истинны же христов страдалец Михаило, любя, глаголя истинноу, со всякою правдою обличааше их лживое свидетельство... Се бо бяше нечестивыи Ковгадыи, сам судья и сутяжеи, тои же лжив послух бывааше, покрывая же лжею своею истинная словеса вернаго Михаила* [2. С. 142]. Этот прием необходим для характеристики героя в соотношении с его главным противником. Михаил Ярославич и Кавгадый, обвиняемый и обвинитель, произносят речи в суде. И если в речах тверского князя только правда, то Кавгадый лжет и лицемерит. Таким образом подчеркивается нравственное превосходство святого над его противниками.

Используя различные способы характеристики и привлекая многообразные изобразительно-выразительные средства, автор жития создал

новый для агиографической литературы образ, совмещающий черты святых воинов и мучеников, и в то же время показал преемственность подвига героя, ввел его в круг прославленных христианских святых.

Литература

1. Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском. М., 1974.
2. Кучкин В.А. Пространная редакция Повести о Михаиле Тверском // Средневековая Русь. М., 1999. Вып. 2.
3. Руди Т.Р. Топика русских житий // Русская агиография. Исследования, публикации, полемика. СПб., 2005.



О словарях воровской речи XIX века

Из фондов Петербургского филиала архива РАН

© М. Н. ПРИЁМЫШЕВА,
кандидат филологических наук

Как в свое время отмечал И.И. Бодуэн де Куртене, “блатная музыка” является ... одним из видоизменений “русского языка”, одним из русских “говоров”, “конечно, не в обыкновенном смысле этого слова..” [1]. Поэтому ее изучение так же необходимо, как и изучение любых других фактов русской речевой традиции.

На современном этапе мы переживаем не только невероятную актуализацию воровского жаргона, его популяризацию и активное вхождение в русское просторечие, но и активизацию научных его исследований, лексикографического собирания и описания. Воровской жаргон имеет свою долгую историю.

Общий свод всех русских воровских словарей XIX века представлен в работе В. Козловского [2]. К материалам первого тома этого собрания следует добавить информацию из словаря “Условного языка петербургских мазуриков...”, приписываемого В.И. Далю [3]. Крупным собранием арг, включающим обширный исторический материал, является также “Словарь тысячелетнего русского арг” М.А. Грачева [4]. Однако в целом история русского воровского арг и его изучение – тема настолько интересная и необъятная, что до сих пор возможно обнаружение новых аспектов, направлений или проблем его исследования.

Данная публикация посвящена двум новым источникам воровского языка XIX века, каждый из которых определенным образом может оказаться важным в истории изучения воровской речи. Источники обнаружены в Петербургском филиале Архива РАН среди “словарных материалов, присланных в канцелярию II отделения АН (ОРЯС) разными лицами” в разделе “простонародное наречие” (1870–1880-е гг.).

Первый словарик под условным названием “Наречие петербургских воров” [5] содержит 27 слов и сочетаний, а также несколько выражений. Приведем его материалы (знак вопроса мы ставим вместо неразборчивого написания или рядом с ним; все сокращения сохранены):

Музыка – воровской язык; *ходить по музыке* – знать язык; *знать музыку* – знать язык; *стýкальцы* – часы карманные; *облобñлся* – попался; *шкёры* – панталоны; *поймать голубей*, *ловить голубей* –

украсть белье с чердака; *персяк* – шелковый платок; *хрять* – бежать; *облобь* – надеть; *спу́рить* – продать; *ел миноги* – был наказан плетью; *дождевик* – булыжный камень из мостовой; *заты́нить* – заманить; *птички* – ассигнации, депозиты; *синичка* – синяя бумажка; *снегирь* – красная; *голубка* – белая; *воробей* – серая; *пеструшки* – сто рублей; *молитвенник* – бумажник; *шатро́ва мельница* – ?; *фомка* – лом; *болтуна-то спрячь подальше* – язык; *Возьми молитвенник, да смотри, чтобы птички не повывлетали* – ?; *пустить красного петуха* – поджечь; *обна́чить* – мелочные торговцы называют то действие, когда удастся продать; *ишии* – мошенник вообще, свой; *Широкая лестница. Веселые острова* (Москов. Инж. Семеновск. полк). *Волы́нский* (та сторона улицы Моск. Тр. Назыв. От Волынского двора, где Технологический институт) – воровские притоны-кабаки.

Новыми для общей истории воровского языка можно считать только группу слов, обозначающих деньги: *птички*, *синичка*, *снегирь*, *голубка*, *воробей*, *пеструшки*, которые не зафиксированы ни в одном воровском словаре XIX века. Видимо, историко-топографический интерес представляют названия кабаков и указание на приблизительное их местонахождение.

В целом, данный небольшой словарь можно считать дополнительным источником по изучению языка именно петербургских воров, а то, что большая его часть абсолютно идентична другим материалам воровских словарей, позволяет выявить тенденции стабилизации воровского арго.

Следующий словарь, хранящийся в фондах ПФА РАН под названием "Воровское наречие (argot)" [6], имеет особое значение, так как его наличие позволяет сделать очень важные выводы о традиции изучения и собирания материалов языка петербургских воров, которые практически полностью совпадают с материалами словаря "Условного языка петербургских мазуриков, известного под именем музыки или байкового языка", приписываемого В.И. Далю [7, см. также 3].

Рукопись из фонда В.И. Даля (в дальнейшем Р-50, рукопись 50-х гг. XIX в.) является писарской белой копией, а хранящаяся в ПФА РАН (в дальнейшем – Р-70, рукопись 70-х гг. XIX в.), черновая: почерк не каллиграфический, несколько небрежный, есть сокращения. Имеются некоторые нарушения в очередности слов в нескольких фрагментах: *заделье*, *уборка*; *захороводить*, *обначивать*, *подначивать*; *трокнуться*, *острёмиться*, *ошмалать*, *агалчить*. В Р-70 есть пропуски. Значения всех слов совпадают. Только слово *стрёма* в Р-50 дано в двух местах списка с различным определением.

Несовпадения в некоторых толкованиях, орфографии, подаче ударений очень незначительны. Однозначным выводом на данный момент при этом сопоставлении можно считать то, что оба словаря идентичны и сделаны с какого-то одного списка...

Заметим, что первый словарь хранился в рукописном виде у В.И. Даля, так как был обнаружен в его фонде и не мог быть известен анониму, если бы был авторским словарем. Однако в 70–80-е годы XIX века, может быть, еще и при жизни исследователя, анонимный аналогичный список был прислан в Академию наук, собиравшую материалы для нового толкового словаря. Таким образом, проблема авторства словаря “Условного языка петербургских мошенников...” не представляется однозначной...

Рукописи словаря, хранящейся в фонде В.И. Даля в РНБ (СПб.) под названием “Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка”, было посвящено несколько публикаций. Словарь был опубликован А.Л. Топорковым в 1990 году. Ранее об этой рукописи упоминал М.В. Канкава [8]. Самый серьезный сопоставительный анализ лексики данного словаря с аналогичными материалами других лексикографических трудов В.И. Даля провел В.Д. Бондалетов [9]. Общим для перечисленных работ является хотя и осторожное, но достаточно определенное отнесение данного словаря к лексикографическому наследию В.И. Даля.

Более того, в публикации А.Л. Топоркова эта исходная посылка ведет к другой, которая требовала бы, на наш взгляд, особых доказательств: «Беловой автограф ориентировочно датирован 1850-ми годами, однако сам словарик, по-видимому, был составлен раньше. В 1869 году *им пользовался* известный писатель и этнограф С.В. Максимов при работе над статьей “Тюремный словарь. Искусственные (байковые, ламанские, кантюжные) языки”, помещенной в приложении к I тому его книги “Сибирь и каторга”. С.В. Максимов сообщал: “Музыка, или словарь карманников, то есть столичных воров, которым мы пользуемся в настоящем случае, составлен в 1842 году, проверен и дополнен сообщениями новых и подтверждением старых слов в прошлом 1869 г.” (Максимов С. Сибирь и каторга. Ч. 1. СПб., 1871. С. 446). Фразы на “байковом языке”, которые приводит С.В. Максимов, *заимствованы им из словарика В.И. Даля*» [3. С. 133. Курсив наш. – М.П.]. Дальнейшие наблюдения ставят под сомнение выделенные курсивом утверждения исследователя.

Таким образом, представляется, что наличие аналогичного анонимного словаря в ПФА РАН позволяет утверждать, что *писарская копия*, хранящаяся в фонде В.И. Даля, не является его авторским словарем. В подтверждение этому есть еще несколько наблюдений:

1. В Р-70, в отличие от Р-50, отсутствуют фразы на байковом языке. Но зато часть фраз Р-50 (в буквальном виде или несколько переиначенном) обнаруживается не только в книге С.В. Максимова, но и в романе В.В. Крестовского “Петербургские трущобы” (1864–1867 гг.). Приведем несколько примеров из “Условного языка...” (Р-50), а в скобках – для сравнения из “Петербургских трущоб” [10]: Что стырил? (Что сты-

рил?); Срубил шмель да выначил скуржаную лоханку (Шмеля срубил да выначил скуржаную лоханку!); Мешок во что кладет веснухи? (Мешок во что кладет веснухи?); Я правлю три рыжака, он четыре колеса кладет (Я по чести, как есть, три рыжика правлю); Вечор я было влопался, насили фомкой отбился, да спасибо мазурик со стороны поздравил каплюжника дождевиком (Вечор было совсем-таки влопался, да спасибо, мазурик со стороны каплюжника дождевиком).

Примечательно, что несколько фраз, представленных в книге С.В. Максимова, также встречаются в романе Вс. Крестовского. Более того, сам словарь, которым пользовался С.В. Максимов, судя по количеству приведенных им слов, гораздо больше по словнику рассматриваемого словаря (Р-50, Р-70). Сравнение словаря С.В. Максимова со словарными материалами Вс. Крестовского и И.Д. Путилина (см. далее) дало следующие результаты: нет ни одного слова у Максимова, которое бы не встретилось в их материалах. Более того, частично порядок байковых слов и словосочетаний в рукописных записях Максимова [Рукописный отдел Института русской литературы РАН. Ф. 565. № 11 (Черновые отрывки из работ о языке), № 5 (Заметки, связанные с изучением тюрем и быта ссыльнопоселенцев)], позволяет предполагать, что фрагментарно он делал выписки, в частности, и из романа “Петербургские трущобы”, так как очередность слов в списках периодически соответствует очередности слов в сносках романа.

2. Важным аргументом также является название словаря (в рукописи Р-50 – “Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка”). Интересно, что В.В. Крестовский, вводя первые картины “трущобной жизни” и первые слова мошенников, начал свой комментарий фразой, практически “одноименной” названию словарика Р-50: “У воров и мошенников существует своего рода условный язык (*argot*), известный под именем “музыки” или “байкового языка”, а далее только в прижизненных изданиях романа и его фрагментов мы находим следующий авторский комментарий: “Впоследствии, при выходе в свет романа, автор намерен сделать более подробное исследование о байковом языке с приложением словаря, первоначально составленного г. Путилиным и ныне во многом дополненного самим автором” [11].

Более того, в материалах И.Д. Путилина (1830–1893 гг.), начальника петербургской полиции в 1866–1889 годов XIX века, этот словарь сохранился и был опубликован после его смерти под аналогичным названием «Условный язык Петербургских мошенников, известный под именем “Музыки” или “Байкового языка”» в автобиографических “Записках” [12].

Сразу оговоримся, что словарь И.Д. Путилина гораздо больше рассматриваемого, слова в нем расположены в алфавитном порядке, но зато он практически полностью включает упомянутый нами словник рукописных словарей.

При этом материал расположен в словаре Р-50 по понятийному принципу, а не по алфавиту, что не характерно для лексикографических материалов В.И. Даля (См. подробнее об этом [9]).

Таким образом, второй обнаруженный источник в ПФА РАН позволяет не только поставить под сомнение вопрос об авторстве В.И. Даля аналогичного словарика из его архивного фонда, но и утверждать, что в основе двух почти аналогичных рукописных словарей, источников книг С. Максимова, В.В. Крестовского и И.Д. Путилина лежал либо словарик, составленный последним ввиду служебной необходимости, либо составленный на его основе некий анонимный источник, списки которого в различных вариациях, вероятно, были распространены достаточно широко – широко в той степени, чтобы некто, желающий помочь в составлении нового словаря Академии наук, прислал туда малодоступные, но, несомненно, важные для истории “простонародного” языка материалы...

Литература

1. Бодуэн де Куртене И.А. Предисловие к книге В.Ф. Трахтенберга “Блатная музыка. Жаргон тюрьмы” // *Трахтенберг В.Ф. Блатная музыка. Жаргон тюрьмы.* СПб., 1908. С. XI–XII.
2. Собрание русских воровских словарей: В 4 т. Сост. Вл. Козловский. New York, 1983. Т. 1.
3. Топорков А.Л. Из истории науки: В.И.Даль. Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка // *Вопросы языкознания.* 1990. № 1. С. 133–137.
4. Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского аргю. М., 2003.
5. Наречие петербургских воров // *Архив РАН. Фонд 9. Оп. 4. № 16.* Л. 102–103.
6. Воровское наречие (argot) // *Архив РАН. Фонд 9. Оп. 4. № 16.* Л. 104–106.
7. Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка // *Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (СПб.). Ф. 234. Ед. 9.*
8. Канкава М.А. В.И. Даль как лексикограф. Тбилиси, 1958. С. 120.
9. Бондалетов В.Д. В.И. Даль и тайные языки России. М., 2004.
10. Крестовский В.В. Петербургские трущобы. Л., 1990.
11. Крестовский В.В. Ерши (Отрывок из романа “Петербургские трущобы” // *Эпоха.* 1864. № 1. С. 525.
12. Путилин И.Д. Очерк некоторых видов воровства в Петербурге. Условный язык петербургских мошенников, известный под именем “музыки” или “байкового языка” // *Записки Ивана Дмитриевича Путилина.* В 6 кн. СПб., 1904. Кн. 4. С. 241–267.

Толковый словарь русских фамилий

© В. О. МАКСИМОВ,
генеральный директор

Информационно-исследовательского центра
“История фамилии”

Абалихин. В некоторых русских говорах (например, в тверских, владимирских, московских) даже в XX веке *абалихой*, *обалихой* называли мучную кашу из ржаной, житной муки; густое питье, приготовленное из овсяной муки, кисель. Возможно, такое имя было в ряду обычных мирских имен, повторяющих названия кушаний (*Каша*, *Лапша*, *Калач*, *Кисель* и др.). Но могло быть и прозвищем, например, бесхарактерного человека. В Переписной книге 1677 года записаны “Ларка, Васка, Якушко, Гришка Борисовы прозвище *Абалихины*”, жители деревни Федоровское на реке Воре.

Горталов. В южных и западных русских говорах глагол *гортать* означал “грести, загребать, складывать” (с пометой *южн.* и *зап.*). Поэтому здесь *Горталом* могли называть прижимистого, скуповатого или чрезвычайно бережливого человека. Однако, наиболее вероятным представляется другое значение этого прозвища. Глагол *гортать*, зафиксированный исследователями русского языка в тверских и вологодских говорах, означал “говорить неразборчиво, невнятно”, “стучать, греметь”. Соответственно, прозвище *Гортало* могло принадлежать ворчуну, невнятно говорящему или шумному, беспокойному человеку. В соседних костромских землях мы встречаем древнейшие записи семейного прозвания *Горталовы*: солевар Павел *Горталов*, Соль Галицкая (1436 г.); Фома Никифоров сын *Горталов*, житель Галицкого уезда (1577 г.); Василий *Горталов*, городской приказчик в Чухломе (1603 г.). В XVI–XVII веках *Горталовы* упоминаются и в других центральных и северо-восточных русских землях.

Ерпылёв. В “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля прозвище *Ерпыль* трактуется как “малорослый торопыга”. Но записано оно с вопросительным знаком и упоминается как “пензенское”. Интересно, что прозвище *Ерпыль* было зафиксировано исследователями русского языка только в пензенских говорах, но, вероятнее всего, в более древние времена оно бытовало и в других русских землях. В старинных документах упоминаются *Ерпылев* Несыт Порошин, арзамасский помещик (1596 г.); Антип *Ерпылев*, елецкий беломестный ка-

зак (1615 г.). Встречается фамилия *Ерпылёв* и среди жителей других регионов России (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Липецк, Калуга, Нижний Новгород, Тольятти, Самара, Ухта, Новосибирск и др.).

Замесин, Замесов. Причины для появления имени или прозвища *Замеса* или *Замес* могли быть различными. Так могли прозвать первенца ("первый замес") или, например, ребенка, родившегося в интернациональной семье ("много всего намешано"). Однако, любопытно упоминание в московских списках 1638 года, где записан Андрей *Замеса*, московский квасник. Возможно, это тот редкий случай, когда древние документы указывают на причину происхождения прозвища, не ставшего официальным названием профессии.

Опрокиднєв. В вологодских, новгородских и пермских землях *опрોકиднєм* называли замороженного знахарем человека, в архангельских говорах *опрોકидєнь* – оборотень. Возможно, наши суеверные предки и дали кому-то из своих земляков такое прозвище по причине того, что верили в его связи со знахарями и даже нечистой силой. Но существовало и другое значение этого слова – "торопыга", "опрометчивый, поспешный человек". В грамотах Ярославского уезда XVI века упоминается деревня *Опрокиднево*.

Пикалов. Даже в XIX веке во многих русских говорах *пикалом* называли мотылька, бабочку. О том, что это название могло использоваться в качестве обычного мирского имени, напоминает распространенность "родственных" фамилий: *Комаров*, *Мухин*, *Жуков*, *Блохин* и др. Но не исключено, что существовали и другие значения имени *Пикало*. Об этом напоминают бытовавшие еще в XX веке в русских говорах слова *пикалица* – "чибис", *пикалка* – "овод", "комар", *пикалєк* – "рыба судак" и др.

Более того, прозвище *Пикало* мог получить и взрослый человек, например, непоседливый, подвижный, весельчак и т.п. В различных диалектах имена-прозвища, образованные от этих значений, могли произноситься как *Пикал*, *Пикаль*, *Пикало*, *Пикала* и т.д. Например, в древних грамотах упоминаются: Ермашко *Пикал* (1495 г.), Михал *Пикаль* (1539 г.) – новгородские крестьяне; Васко *Пикало* (1649 г.), Степан *Пикало* (1654 г.) – запорожские казаки. В грамоте 1654 года – Фалелей *Пикалов*, житель Курска.

О былой популярности имени или прозвища *Пикало* (*Пикал*) свидетельствует и такой факт: по данным за 2000-й год, только в Москве проживает более 250 семей *Пикаловых*. Не редка эта фамилия и в других русских землях: от западных областей до Урала и Сибири. Об этом же напоминают и сохранившиеся до наших дней в Московской, Липецкой и Орловской областях деревни с названиями *Пикалово*.

Подборнов, Подборный. Прозвание *Подборные* обычно давалось семейству, приехавшему на новое место жительства из населенных пунктов с названиями *Подбор*, *Подборье*, *Подборы*, *Подборное* и т.п.

Слово *подбор* в старину имело множество значений, главное из которых – “опушка бора, леса”, а слово *подборный* указывало на водоем с отлогими берегами. *Подборным* могли прозвать и человека, жившего на опушке леса или вблизи озера, реки или пруда с отлогими берегами. В старинных документах записаны: Семен *Подборный*, крестьянин, Рязанский уезд (1596 г.); Януш *Подборной*, Полоцкий сельчанин (1601 г.); Миско *Подборный*, казак Черкасского полка (1649 г.). В настоящее время селения с названиями *Подборье*, *Подборное*, *Подборная*, *Подборный* сохранились во многих областях России, а в Пензенской и Рязанской областях существуют озера с названием *Подборное*.

Стрибнев. Астраханская фамилия *Стрибнев* восходит к популярному в прошлом в южнорусских и украинских говорах слову *стрибать*, т.е. “сигать, прядать, прыгать”. Вероятнее всего, прозвище *Стребень*, т.е. буквально “попрыгун” (от этой формы образована фамилия *Стребнев*) мог получить непоседливый человек.

Струнников. Фамилия – загадка. Прозвище *Струнник* не упоминается в Словаре В.И. Даля; ускользнуло оно и от более поздних исследователей русских говоров. Лишь в Словаре Д.Н. Ушакова появляется слово *струнник* – “музыкант на струнном щипковом инструменте”. Но в прошлом, вероятнее всего, так называли не музыканта, а мастера, изготавливавшего струны. Например, в Коломенской писцовой книге 1577–1578 годов в числе лавок, расположенных в “Щепетинном ряду” (*щепет*, *щепетинье* – галантерейные товары), упоминается одна “лавка струнника”. Маловероятно, чтобы в данном случае прозвище *Струнник* было употреблено в значении “музыкант”: для составителя документа было важнее указать род товара, предлагаемого владельцем лавки. Здесь же упомянуты и “лавка дехтяря, ложечника” и еще пятнадцать лавок разных владельцев с указанием их профессии.

Прозвание *Струнников* в документах XVI–XVIII веков нередко упоминается в числе профессиональных. Но имя-прозвище *Струнник* встречается и в церковных книгах: *Стефан Струнник*, *Феодор Струнник*, “...некто Конон именем, Струнник”. А вот в современных святцах имя *Струнник* отсутствует. Дело в том, что и в древних святцах именование *Струнник* было не именем, а прозвищем упоминаемого святого. Оно возникло как буквальный перевод на русский язык двух совершенно различных прозвищ. Одно из них в переводе с греческого означает “носящий власяницу”, то есть одежду из грубой шерстяной ткани (в древнерусском языке *струна* – “волос”). Именно таким образом в русских святцах появилось прозвище святого *Стефана Струнника*.

Но в форме *Струнник* первые древнерусские переводчики христианских текстов нередко передавали и греко-латинское прозвище *Киликиец* (т.е. выходец из Киликии: в начале н.э. так называлась юго-восточная область в Малой Азии. Это название восходит к греческому слову, имеющему то же значение, что и церковнославянское “власяни-

ца"). Зачастую записанные в святцах прозвища святых, дополнявшие их официальные христианские имена, воспринимались славянами в качестве вторых, то есть вполне официальных имен. Поэтому за несколько столетий это значение имени-прозвища *Струнник* также могло стать основой семейных прозваний некоторых русских людей. В древних документах упоминаются: Григорий *Струнников* (1630 г.), посадский человек, Ржев; Иван *Струнников* (1640 г.), коломенский целовальник городского дела; Трифон Первого сын *Струнников* (1651 г.), житель Ржевского уезда.

Фрыгин. Еще в XIX веке в русских говорах слово *фрыга* употреблялось в значении “фряг, фрязин”, “итальянец”, “немчин” или же в более широком смысле – “европеец”, “латинянин”. Это название восходит к латинскому слову *francus* – “франк”. Причиной появления такого прозвища у русского человека мог быть его обычай носить одежду “на фряжский манер”, брить бороду или подстригаться “по-европейски” и т.п. Например, в грамоте 1705 года по городу Астрахани упоминается Сафрон *Фрыга*, “морской кормщик”, бывший ранее на государственной службе, но самовольно ее оставивший и примкнувший к донскому казачеству. Интересно, что именно в 1705 году началось Астраханское восстание стрельцов, солдат, посадских и работных людей. Его причины были многочисленными, но непосредственным поводом к восстанию послужил указ Петра I о запрещении носить русское платье и бороды, который астраханский воевода Ржевский выполнял с необычайной жестокостью. Очевидец этих событий позднее (в 1722 г.), описывая причины случившегося, сообщал, что астраханским матросам было велено “делать платье немецкое... и бороды и усы им выбрили, и ругаясь называли их фрыгами и полуверцами”. Из этих воспоминаний видно, что прозвище *Фрыга* в этот период было весьма распространенным. Упоминает это прозвище в своей книге “Словарь пермских фамилий” и Е.Н. Полякова: “Клементей по назвищу *Фрыга*”, село Петровское под Кунгуром (и снова 1705 год!).

Продолжение следует

Желающие задать вопрос или предложить свои дополнения к материалам, опубликованным в этом разделе, могут воспользоваться электронной почтой: dialog@familii.ru (письма отправлять с пометкой “Толковый словарь российских фамилий”) или посетить сайт Исследовательского Центра “История фамилии”: www.familii.ru.

Топонимика



Звенигород: что звенит и звенит ли?

© А. Л. ШИЛОВ

Недалеко от Москвы, в живописном месте на Москве-реке расположился город Звенигород. Ранние письменные упоминания о нем содержатся в завещаниях Ивана Калиты 1336 года и его сына Ивана 1359 года [1. С. 7, 15], а также в списке “А се имена всем градом руским далним и ближним” 1375 года [2. С. 275–477]. Летописи же говорят о нем, начиная с 1382 г. (в связи с разорением татарским ханом Тохтамышем) [3. Т. 25. С. 209].

Достоверно известно, что в XIV веке Звенигород представлял собой укрепленное поселение на высоком левобережном холме в излучине Москвы-реки (сейчас это место называется *Городок*), являясь важным опорным пунктом на западных подступах к Москве. В 1339–1492 годах он был центром Звенигородского удельного княжества.

В исторической, краеведческой и топонимической литературе популярно мнение Б.А. Рыбакова о появлении Звенигорода в середине XII века в результате градостроительства Юрия Долгорукого, “когда в Суздальской залесской стороне возникали Переяславли и Вышгороды, а реки получали южные имена (Трубеж, Лыбедь и др.)” [4. С. 549]).

Некоторые авторы даже стремились обосновывать гипотетическую дату постройки Звенигорода ссылками на конкретные исторические обстоятельства. Так, говоря о набеге волжских булгар в 1152 году на “Суждальскую землю”, Ю.А. Лимонов писал: “Этот поход вызвал вновь усиление строительства городов, их украшение и укрепление. Характерно, что именно в этот период заложены такие крепости, как Зве-

нигород на Москве-реке, Кидекша, прикрывавшая княжескую резиденцию – Суздаль, Юрьев Польской – опорный центр ополья...” [5. С. 21–22]. Но зададимся вопросом: какая связь могла существовать между постройкой Звенигорода и болгарской угрозой, если в 1107 году болгары Клязьмой дошли лишь до Суздаля, где и были разбиты, а в 1152 году – Волгой до Ярославля (с тем же, печальным для них исходом). Вообще, нападавшей стороной чаще были не болгары, а русские [6]. Кстати, Ю.А. Лимонов (С. 24) пишет о превращении в 1153 году Москвы в форпост Суздальского княжества на границе со Смоленской землей. Это согласуется с исследованиями А.Н. Насонова [7. Карта между С. 160–161], который не только не показывает Звенигорода, но и проводит западную границу Ростово-Суздальской земли (со Смоленской землей) по Москве-реке восточнее будущего Звенигорода. Ну не мог же Юрий выстроить крепость на земле, ему не принадлежавшей!

Дату 1152 года приводят и В.А. Никонов [8. С. 146], и Е.М. Поспелов [9. С. 11]. Впрочем, впоследствии Е.М. Поспелов [10. С. 100–101] справедливо отказался от этого утверждения, указав, что в письменных источниках название *Звенигород* до XIV века не встречается.

То, что значительное поселение здесь существовало и раньше, сомнению не подлежит, ибо об этом однозначно говорят археологические данные [11; 12. С. 207]. Но вот то, что город с таким названием был основан Юрием Долгоруким в середине XII века, ничем не подкрепляется. Напротив, в летописных сообщениях о нашествиях татар (Батый, Неврюева рать, Дюденева рать), тщательно фиксирующих названия разоренных татарами городов, Звенигорода нет, а есть лишь волжские Волок Ламский, Дмитров, Тверь и окские Рязань, Коломна и Козельск. В XIII веке источники вовсе не называют каких-либо населенных пунктов между Москвой и Волоком Ламским [13] (в географическом указателе [3. Т. 39] известие 1187 г. о Звенигороде Киевском ошибочно соотносено со Звенигородом Московским). Так что городок с именем *Звенигород* возник, видимо, не ранее рубежа XIII–XIV веков.

А если так, то в воздухе повисает и популярная версия о перенесении этого названия из южной Руси (для XIV в. такое предположить крайне затруднительно в силу исторических обстоятельств). Впервые эта версия была выдвинута в середине XVIII века В.Н. Татищевым [14. С. 44]. Аналогичным образом высказался В.И. Даль в статье 1852 года [15. Т. I]. Он ставил *Звенигород* в ряд с названиями *Переяславль*, *Владимир*, *Галич*, *Стародуб*, перенесение которых с юга, по его мнению, сомнения не вызывает (заметим, однако, что сомнений не вызывает лишь перенесение ойконимов *Переяславль Рязанский* и *Переяславль Залесский*, каждый – со “своей” речкой *Трубеж*). Это мнение разделяют многие современные исследователи (В.П. Нерознак [16], Е.М. Поспелов [9. С. 12; 10. С. 101; 17. С. 90]). Но схожие названия различных местностей могут возникать и от сходных природных условий или об-

стоятельств их появления. Тем не менее, для полноты картины укажем иные Звенигороды в древнерусских землях:

Звенигород Киевский (ниже Киева по Днепру), известный по летописям с 1097 года [3. Т. 2. С. 234];

Звенигород Галицкий (Червенский) на реке Белке в левобережье верховьев Днестра к юго-востоку от Львова. Известен с 1086 года [3. Т. 1. С. 206];

Звенигородка – село на реке Гнилой Тикич в левобережье Южного Буга. В.А. Никонов указывал село *Звенигородка* в Правобережной Украине рядом с горой *Звенигора*, а В.П. Нерознак – *Звенигородку* у реки *Звенигородка* басс. Ю. Буга. Похоже, что это один и тот же объект;

Звенигород (в польских источниках – *Dzwynogród*) на реке *Звинячка* меж Серетом и Збручем – левыми притоками Днестра. Видимо, этот пункт указан в списке “А се имена” [2] в числе “польских” городов. Раскопками здесь вскрыто древнее славянское поселение;

Звенигород – бывшее поселение близ города Бережаны Тернопольской обл. на реке Золотая Липа (левый приток Днестра);

Звенигород – село близ города Бучач Тернопольской обл. на реке Стрыпе (левый приток Днестра) [о последних трех объектах: 12. С. 209–211];

известен еще *Звеньгород* в Болгарии. Реконструкцию же польск. *Zmigród > Żmigród* (*Жмигруд* на р. Барич, пп Одры к северу от Вроцлава) в форме **Zwnigród* [18] С. Роспонд считал ошибочной [19. С. 52].

Но даже в случае перенесения (сомнительного, как мы увидели) названия из Руси Киевской в Русь Ростово-Суздальскую, а не использования устоявшейся архаичной модели для именования нового города, исходное название *Звенигород* требует разъяснения.

Фактически все исследователи усматривали в первом компоненте названия того или иного рода производные от глагола *звенеть*. По этому поводу А.В. Барандеев писал: «Внешняя форма топонима вполне прозрачна: он образован соединением двух корней – *звен-/звон-* и *город*, что послужило поводом для закрепления его “звонкого” образа в народно-поэтическом сознании... Действительно, в названии города слышится звон, но мы пока не знаем откуда он» [12. С. 205]. Многие ученые (В. Ташицкий, М. Фасмер, С. Роспонд, В.А. Никонов [18; 20; 19; 8]) здесь усматривали именно звон как таковой. Так же, видимо, полагали и авторы гербов Звенигорода 1781 года и второй половины XIX века, простодушно изобразившие на них колокол. Полагалось, что в момент приближения врагов в городе звонили колокола, извещая окрестное население об опасности.

Лишь В.А. Никонов [21. С. 94–95] обратил внимание на то, что форма *Звенигород* (не от *звон*, а от *звенеть*) в этой версии подразумевает императивную конструкцию, крайне редкую в славянской ойконимии (особенно, если исключить поздние отыменные топонимы типа *Урви-*

хвост, Залейвода). В.А. Никонов резонно задает вопрос, как и почему из императива смогли возникать топонимы, что они означали, и высказывает осторожное предположение, что императив выполнял здесь функцию определения.

К этому добавим, что всякий древнерусский город имел церкви с колоколами, и непонятно, почему именно тем или иным городам (Звенигородам) была приписана функция сторожевого звона. Неудивительно, что ряд исследователей (В.П. Нерознак, Е.М. Поспелов, А.В. Барандеев) критически отнеслись к звеняще-колокольной версии, не находящей типологических параллелей в русской ойконимии.

В.П. Нерознак полагает, что название *Звенигород* было связано с названием реки с основой *Звен-* [16. С. 76–77]. Е.М. Поспелов допускает, что в основе ойконима может лежать как личное имя типа *Звенислав*, *Звенимир*, так и гидроним (ср. реки *Звинеч*, *Звиняка*, *Звенига*) [17]. К гидрографической версии склоняется А.В. Барандеев: «Как известно, во многих случаях древнерусские города получали свои имена по названиям рек, на которых они “ставились”, или по особенностям гидрорельефа местности. Звонкий, шумный характер течения рек вполне мог отразиться в названиях городов, что хорошо согласуется с предметно-конкретным мышлением наших далеких предков» [12. С. 213].

По поводу этих версий можно сказать, что названия древнерусских городов образовывались от личных имен исключительно с помощью притяжательного суффикса *-ь* (а не сочетанием со словом *город*), например: *Всеволож* (< *Всеволод*), *Володимерь*, *Дорогобуж* (< *Дорогобуд*), *Дорогожич* (< *Дорогожит*), *Перемышь* (< *Перемысл*), *Ярополч* (< *Ярополк*), *Збыраж* (< *Збырад*), *Домагощ* (< *Домагост*), *Переяславль*, *Богуславль*, *Дедославль*, *Мстиславль*, *Ярославль* и под. Потому от *Звенислав* или *Звенимир* следовало бы ожидать **Звениславль*, **Звенимирь*; название же *Звенигород* могло (что, впрочем, маловероятно, см. далее) возникнуть лишь из **Звень*, **Звень*.

В России “именные” ойконимы с компонентом *город* стали спорадически возникать (причем – в административном порядке) лишь с конца XV века. Так, *Иван-Город* на Нарве был основан Иваном III в 1492 году и назван его именем. Существовал также *Ивангород* (*Себеж*) в Псковской обл. Название поселения *Себеж* (по озеру) известно с 1414 года. В 1535 году в нем была заложена крепость с церковью Усекновения главы Иоанна Предтечи. При освящении церкви город был назван *Ивангород-на Себеже* (причем, не по названию церкви, а в честь Ивана IV), но это название не привилось. С 1551 года был известен и *Ивангород* в Поволжье (также в честь Ивана IV), ныне *Свияжск*. Изначально *Васильгородом* назывался *Васильсурск* (ныне *Василь*): “При слиянии Волги и Суры государь Василий (Василий II, сын Ивана III. – А.Ш.) воздвиг крепость и назвал ее по своему имени Васильгородом” [22. С. 90].

Теперь о городах с “речными” именами. “Звучащие” речные названия типа *Звеньячка, Звонец, Гремяха, Воркун* и т.п., конечно же, многочисленны в России (и не только) [23. С. 263–266]. Но дело в том, что в восточнославянской традиции для названий населенных пунктов, образованных от названий соответствующих им рек, характерны были модели с нулевым суффиксом (*Олонец, Москва, Тула, Кемь*), либо с замкнутой финали *-а* на *-ъ* (морфологическое согласование по роду с географическим термином “город”: *Пскова – Псковъ*), либо с суффиксом *-ескъ* (*Курскъ, Витебскъ, Полоцкъ*) [19], но никак не с компонентом *-город*. Кроме того, близ Звенигорода нет никакой реки со “звонящим” названием.

Итак, как “именная”, так и “речная” версии названия Звенигорода оказываются несостоятельными, вступая в противоречие с принципами номинации древнерусских городов. Для решения вопроса стоит, видимо, вначале обратиться к типологии древнерусских названий с компонентом *-город*. А таких, по сути дела, всего три, причем они характерны практически для всех славянских стран. Приведем лишь восточнославянские названия:

Белгород. Значение названия прозрачно – “белый город”, но его мотивировка во многих случаях остается неясна. Наряду с названиями, отражающими цвет городских укреплений из известняка, возможны и названия, в которых *белый* означает “свободный (от тех или иных подазей)” или даже такие, исходный смысл которых доселе вовсе неизвестен. На Руси существовали – *Белгород Рязанский* [7. С. 182]; *Белгород Тульский* [16]; *Белгород Смоленский* [3. Т. 39. С. 116]; *Белгород Курский* [17]; *Белгород Киевский* [2. С. 129]; *Белгород Днестровский* [16; 17]; *Белгород Нижегородский*. В 1404 году была известна волость *Белогородская*.

Новгород. Значение ясно – “новый город” (как таковой или по отношению к какому-то иному городу); *Новгород Великий* [24. С. 7–15]; *Новгород-Северский* [16]; *Новгород Нижний* [16]; *Новоград-Волынский* [17]; *Новгородок на Осетре* [2; 10]; *Новъгородок Литовский* [16; 17]; *Новгородам* подчас (хотя далеко не всегда) соответствуют парные *Старгороды*, ср. *Нова- и Стара-Градишка, Нови- и Стари-Град, Стари-Градац* в Хорватии, *Старгарт* в Польше, *Старгород* на Украине.

Вышгород. С. Роспонд отмечал, что это одно из самых частых “культурных” названий со значением “город, расположенный на холме, чаще над рекой” [19. С. 51]. Е.М. Поспелов определяет его как “верхний замок, крепость, детинец”, т.е. резиденция феодала, находящаяся на горе [9. С. 23]. “Словарь русского языка XI–XVII вв.” для *вышегород, вышеград* указывает значение “крепость на возвышенности или вблизи города” [25. Вып. 3. С. 276]. Таким образом, словосочетание *вышгород* стало географическим термином: *Вышгород Рязанский* [7. С. 182]; *Вышгород Протвинский* [3. Т. 39; 10]; *Вышгород Яхромский* [1. С. 34, 272,

315]; *Вышгород Тверской*; *Вышгород Волжский*; *Вышгород Псковский*; *Вышгород Новгородский* [2]; *Вышгород Днепровский* [3. Т. 1. С. 60].

Справедливости ради назовем некоторые позднейшие названия, образованные по той же модели. *Буйгород* (*буй* – открытое, высокое место); *Буйгород Волоколамский* [1. С. 349]; *Буйгород Костромской*; *Райгород* (от слав. *рай* “сад”) [8. С. 349].

Итак, в большинстве случаев, первый компонент подобных названий был образован от прилагательного, реже – от существительного, но никогда от отглагольного образования. В древности же первый компонент названий с элементом *-город* содержал исключительно прилагательные: *новый*, *белый*, *вышний*. Так, может быть, существовало и прилагательное **звеный*? Мы предположили, что, в случае *Звенигорода* выйти из заколдованного круга может помочь именно отвлечение от глагола *звенеть* (и производных *звон*, *звонкий*) и обращение к слову *звено*.

М. Фасмер приводил [20. С. 86–87]: *звено* “член, часть чего-либо”, укр., болг. *звено*, польск. *dzwono*, в.-луж. *zwjeno*, н.-луж. *zweno*, полаб. *zvenj* “обод (колеса)”, польск. *dzwona* “кольца змеи”. К этому приведем польский гидроним в басс. Вислы *Dzwonny Rów* “круглый ров (проток)”.

В историческом словаре *звено* имеет следующие определения:

1. Кусок крупной рыбы во всю ее толщину (т.е. круглый кусок! – *А.Ш.*), 1587 г.; 2. Кусок, часть ч.-л., 1683 г.; 3. Моток пуха, шерстяной пряжи (?), 1642 г.; 4. Звено цепи, связи, 1589 г.; 5. Часть стены, забора между двумя столбами или башнями, 1662 г.; 6. Часть (участок) засеки, 1685 г.; 7. Часть рыболовного угодья: *звено реки Воронежа да звено реки Дону*, 1615 г. (видимо здесь имелись в виду излучины, ибо прямые речные участки именовались *плёсами*. – *А.Ш.*) [25].

Современный словарь для слова *звено* (среди иных прямых и переносных значений) дает толкование “отдельная составная единица в цепи; кольцо”. Из всего указанного мы можем извлечь развитие значения: “кольцо, нечто округлое по форме” – “округлая часть чего-либо” – “часть чего-либо” [26].

Следует вспомнить о том, что топонимия (как и народная географическая терминология) – это особая область лексики, в которой зачастую консервируются древние значения тех или иных лексем или их специфические оттенки. Укажем из географической лексики и топонимии Русского Севера (в сравнении с современным значением соответствующих лексем): *толстик*, *толстой мыс* (м. *Толстик*, м. *Толстый наволо*) “высокий мыс с приглубой водой” (в отличие от *тонкой мыс* “низкий мыс”), *топорня* (г. *Топорная*, оз. *Топорное*) “земля на месте вырубленного леса”, *спорная вода* (пор. *Спорный*) “место встречи, сби

шийся в запустении” [28], *дворец* (уменьшительное от *двор*; см. дер. *Дворцы* на р. Угра, дер. *Дворец* на Каме) “жилище; комплекс жилых и хозяйственных построек” (в грамотах XVI в. по Карелии не раз упоминаются *лопарские дворцы*, *дворцы дикой лопи*) и т. д.

Так и слово *звено* (*звеный*) в составе древних ойконимов могло передавать исходную идею округлости. Посему мы полагаем, что название *Звенигород* (< *Звеный город) могло означать “город на холме округлой формы (или находящийся в петле реки)” или же “город, укрепления которого образовывали округлую (а не угловатую) фигуру”. Даже сейчас на местности видно, что первому варианту отвечает холм, на котором находился Городок – предшественник современного подмосковного Звенигорода. Типологически со *Звенигородом* (если от *звено* “кольцо, петля”) можно сравнить названия города *Выру* в Эстонии – из эст. *võru* “кольцо” [17. С. 69], столицы Латвии *Рига*, по-литовски – *Ringa*, от *ringe, ringis* “излучина, речная петля” (излучина бывшей реки Ригасупе) [10. С. 154], американского *Сёркла* – от *circle* “круг”.

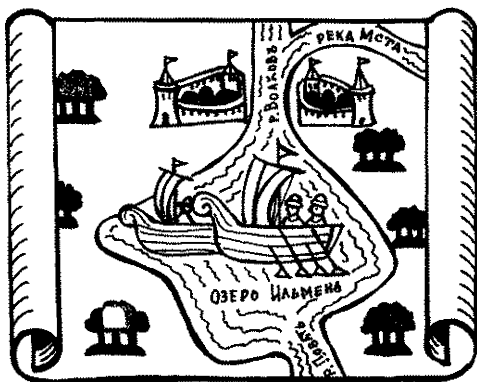
Иное дело, что со временем эта модель могла быть забыта из-за утраты словом *звено* исходного значения (даром, что мы позже XIV века не видим новых *Звенигородов*, хотя видим все новые *Новгороды*, *Белгороды*, *Вышгороды*) и соответствующие названия стали в народном (а затем и в научном) сознании ассоциироваться с понятием звона.

Литература

1. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.-Л., 1950.
2. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000.
3. Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1; СПб., 1908. Т. 2; М.-Л., 1949. Т. 25; М., 1994. Т. 39.
4. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII в. Изд. 2-е, дополн. М., 1993.
5. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1987.
6. Кучкин В.А. О маршрутах походов древнерусских князей на государство волжских булгар в XII – первой трети XIII в. // Историческая география России. XII – начало XX в. М., 1975.
7. Насонов А.Н. “Русская земля” и образование территории древнерусского государства. СПб., 2002.
8. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966.
9. Поспелов Е.М. Названия подмосковных городов, рек и озер. М., 1999.

10. *Поспелов Е.М.* Топонимический словарь Московской области. М., 2000.
11. *Бояр О.П., Краснов Н.А., Краснов Ю.А.* Звенигород. М., 1974.
12. *Барандеев А.В.* История с географией в терминах. М., 2005.
13. *Кучкин В.А.* Формирование государственной территории северо-восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984.
14. *Татищев В.Н.* Собрание сочинений. М., 1995. Т. 3. Ч. 2.
15. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955.
16. *Нерознак В.П.* Названия древнерусских городов. М., 1983.
17. *Поспелов Е.М.* Историко-топонимический словарь России. М., 2000.
18. *Taszycki W.* Nazwa miejscowa *Żmigród* // *Jezyk Polski*, 1947. XXVII.
19. *Роспонд С.* Структура и стратиграфия древнерусских топонимов // Восточно-славянская ономастика. М., 1972.
20. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1967. Т. II.
21. *Никонов В.А.* Введение в топонимику. М., 1965.
22. *Герберштейн С.* Записки о московских делах // Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986.
23. *Матвеев А.К.* Ономатология. М., 2006.
24. *Шилов А.Л.* Заметки по исторической топонимике Русского Севера. М., 1999.
25. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1978. Вып. 5.
26. Словарь современного русского литературного языка. М.-Л., 1955. Т. 4.
27. *Шилов А.Л.* Топонимический заповедник // *Русская речь*. 1996. № 4. С. 92–97.
28. *Витов М.В.* След и посиденье в обонежской топонимии (XV–XVII в.) // Вопросы географии. М., 1966. Сб. 70.

Топонимика



Гидронимы близ озера Ильмень

© В. Л. ВАСИЛЬЕВ,
доктор филологических наук

Среди самых крупных водных объектов на Русском Северо-Западе хорошо известно озеро Ильмень на территории Новгородской обл. Многие водоемы на берегах Ильменя, даже самые мелкие, носят названия глубоко архаические, объясняемые из финских или балтийских языков или содержащие разнообразные приметы древнерусского времени. При этом отдельные архаические гидронимы на ильменском побережье попарно связаны в локальные микросистемы, обнаруживая неслучайное сходство по этимологическому смыслу и по структуре. Для анализа мы выбрали две пары гидронимов, противопоставленных по этноязыковой принадлежности (древнеславянские и древнебалтийские), но характеризующихся несколькими общими чертами: во-первых, они связаны с небольшими соседствующими притоками озера Ильмень; во-вторых, попарно соотносятся по смыслу производящих лексических основ, обозначающих животный мир региона; в-третьих, все они возникли способом прямой гидронимизации апеллятивов.

Гидронимическая пара *Хохулька* – *Кармяная*. Первый элемент данной пары – *Хохулька* – относится к речке, впадающей в Ильмень с восточной стороны. Впервые эта речка под названием *Хохуля* упомянута новгородской пергаменной грамотой, датируемой 60–70-ми годами XV века, – Рядной Федора Акинфовича, его жены и детей с Матвеем Ивановичем. Грамота очерчивает границу (“обод”) наследуемой земли, проходившую отча-

сти “от броду вверх по Хохули реки”; обозначенная волостка в Сытинском погосте Деревской пятины охватывала, помимо прочего, “болшей двор Хохульской” и окрестные села “на Хохули” и “за Хохулей” [1; 2].

Перечень топонимов в средневековой грамоте не оставляет сомнений в том, что речь идет о речке на восточном побережье Ильменя (на-пример, упомянута р. *Велкасья* = совр. р. *Веркасенка* близ *Хохульки*). Позднее *Хохуля* указана Приправочной писцовой книгой Деревской пятины 1550/51 г. на территории Сытинского погоста: “... на пожни на Владычни на речке на Хохуле сена косят 80 копен” [3. Т. 5. С. 257]. По этой речке получила название поставленная на ней деревня *Хохуля* Сытинского погоста, указанная в Платежной книге 1543 г. [Там же. Т. 4. С. 466], позднее ставшая *Хохуль* Красностанской волости Крестецкого уезда; по ойкониму *Хохуль* словообразовательно закрепился уже современный вид гидронима – *Хохулька*. Со временем данная речка стала именоваться также *Сытинка* (по селу *Сытино*, центру погоста), в связи с чем “Списки населенных мест Новгородской губернии” [4] деревню *Хохуль* указывают на *Сытинке* (хотя карта-трехверстка конца XIX в. помещает дер. *Хохуль* именно на р. *Хохульке*). Современные списки водоемов Новгородской обл. помечают речку двумя разными названиями – *Хохулька* и *Сытинка/Сытенка*, но второе название относится скорее к нижнему течению водотока. Вообще говоря, название разных участков речного русла разными именами – явление нередкое.

Исходное *Хохуля* при кажущейся гидронимической уникальности имеет достоверную нарицательную параллель: *хохуля* “выхухоль, мускусная крыса”: “И хохуля себя не хулит, даром что воняет” [5. Т. IV]. Специалисты отмечают, что *выхухоль* еще в недавнем прошлом водилась в водоемах бассейна озера Ильмень [6].

Заметим, что обозначения представителей фауны нередко прослеживаются в гидронимии без всякого преобразования, например на Северо-Западе: речка *Векша*, приток Шелони (диал. *векша* “белка”), протока *Загоска* в дельте Ловати (= диал. *загозка* “кукушка”), речка *Крекша*, приток Ильменя, *Крякша Большое* и *Крякша Малое*, озера в Кемецкой волости бывшего Валдайского уезда (ср. новг. *крёкша* “утка кряква” и *кряка*, *крякуша* “утка” [7. Вып. 4. С. 140, 165], речка *Колпь* бассейна Суды (диал. *колпь*, *колпик*, *колпица* “чубатая птица из разряда цапель”), ручей *Змейка* в устье Мсты, *Комар*, приток Оскуи в бассейне Волхова, речка *Ящерка* бассейна Сяси, дважды *Утка* – приток Явони в течении Полы и приток Лубенки в течении Луги, реки *Шука* и *Гоголица* среди притоков Мсты, *Щучка* бассейна Плюссы, ручей *Медведь*, приток речки Тихвинки бассейна Сяси и др.

Причины подобных гидронимических номинаций различны, но как бы то ни было такие названия, как правило, указывают прямо или опо-

средованно на наличие в прошлом и/или в настоящем соответствующих представителей фауны в данной местности.

Название речки *Хохуля*, рассмотренное в связи с диалектным обозначением выхухоли, предполагает не только присутствие данного животного вблизи Ильменя, но и выступает самым ранним свидетельством укорененности диалектного *хохуля* на севере восточного славянства, что отрицает гипотезу о позднем заимствовании его из калмыцкого языка [8. Т. IV].

О давней известности слова *хохуля* на новгородской территории говорят такие суффиксальные производные, как старописьменное название пустоши *Хохулино* в Деревской пятине конца XV века [9. Т. II. С. 459], и известная по современным говорам лексема *хохулинка*, имеющая, правда, иное, не “фаунистическое”, значение – “пучок льна, захватываемый пястью” (Хвойнинский р-н); к ней семантически близки новг. диал. *хохалка* “сноп льна”, *хохолок* “клочок нескошенной травы”, *хохлы* “волосы” [7. Вып. 12]. Наличие новг. *хохулинка* “пучок льна” (ср. почти идентичное фонетически и семантически польск. *chochół* “конец снопа, пук”) в определенной мере не стыкуется с устоявшимся мнением сближать лексемы *хохуля*, *выхухоль*, обозначающие водного зверька, с чеш. *chuchati* “дышать, выдыхать”, польск. *chuch* “дыхание” и видеть по смыслу первоначально “животное, испускающее вонь” [8].

При отождествлении со словом *хохол* наименование выхухоли можно было бы обосновать номинацией по признаку густого мехового покрова этого зверька (т.е. “животное с густым мехом”, ср. мотивировку новг. диал. *хохоль* “мелкий ерш” как рыбы с распушенными плавниками). Но не исключено, что мы имеем здесь случай семантического ассоциирования этимологически различных, но созвучных слов и смысловое сближение со словом *хохол* вторично.

Обратимся далее к рассмотрению гидронима *Кармяная*, который, на наш взгляд, целесообразно объяснять с учетом гидронима *Хохулька*. Название *Кармяная* носит один из протоков в дельте реки Мсты, впадающей в Ильмень по соседству с Хохулькой. Весьма любопытно, что и этот, второй, гидроним может быть с достаточной убедительностью соотнесен с обозначением выхухоли.

Современные материалы дают варианты формы названия (чаще *Кармяная*, но есть и *Кормяная/Карамяная*), о котором становится известно с XVI века на территории Наволоцкого погоста Деревской пятины. Покосы “на *Кормяне*” многократно отмечались в Отписных и Оброчных книгах пригородных пожен Новгородского дворца 1535/36–1539/40 годов, писцовая книга письма Ивана Рябчикова 1538/39 годов указывает разные пожни (Хвощеница, Новочисть и др.) “на реке на *Кормине*” или “на реке на *Кармине*”. Таким образом, начальная форма средневекового гидронима – *Кормина* или *Кормяна*, причем данное название относилось как к речке-протоке, так и к смежному с ней болоту;

см.: “Пожня Алферьевская Иванова сына Афонасова Ласыщинская на рече на Кормяне” и рядом: “Марфинская Исакова пожня на Кормяне болоте”. Кроме того, писцовые книги знают еще один вариант – *Коромьяна*: “Омосовская Еремеева пожня на Коромьяне” [3. Т. 1. С. 317, 318, 319, 321, 326, 351, 352, 361, 364, 365, 367, 372; Т. 4. С. 206–207].

Внешний облик гидронима, не находящего очевидных соответствий в апеллятивной лексике диалекта, особенно же его развитая вариантность намекают на неславянское происхождение. К вторичным вариантам нужно отнести *Кармянная/Карамьяная/Коромьяна/Кармина*; эти поздние формы возникали по разным причинам: благодаря позднему аканью, или вторичной вставке гласного между сонорными, или соотносению с прилагательными женского рода на *-ая*. Первоначальную гидронимную форму наиболее оправданно членить в виде *Корм-ин-а/Корм-ян-а*, выделяя суффиксальную часть (суф. *-ин-* или *-ян-*), и корневую часть *Корм-*; последняя предполагает др.-рус. **Кърм-*, закономерно выводимое из **Китм-*, очевидно, дославянской субстратной основы.

Явные межтерриториальные гидронимические параллели к новг. *Кормина/Кормяна* обнаруживаются в Верхнем левобережном Поочье – речка *Кормянка* бассейна Жиздры [10], на севере Украины – речка *Кормин/Кармин* в бассейне Стири, правый приток Припяти [11], в Литве – речка *Kurmė*, озера *Kūrmis*, *Kūrm-ežeris* и особенно речка *Kurminė*. О перечисленных литовских гидронимах литовский гидронимист А. Ванагас пишет: “Возможно, связано с лит. *kūrmis* “крот (Talpa europaea)” [12. С. 174].

Данная трактовка приемлема, но имеет слабость в семантическом отношении, поскольку крот не является водным животным и не живет по берегам водоемов. Поэтому приходится исходить из метафорической (а значит, семантически абстрактной) связи крота с водоемом, причем данная связь не находит как будто очевидной гидронимической опоры (по крайней мере, гидронимы, объясняемые славянскими наименованиями крота, нам не известны). Но существенно подчеркнуть, что крот в биологической таксономии весьма близок к выхухоли (оба принадлежат к отряду насекомоядных), и сходство этих пушных животных хорошо показывает сам литовский язык, который знает близкое слово *kurmėnas*, обозначающее “выхухоль” [13]. Поэтому новг. *Кормина/Кормяна* (> совр. *Кармянная*), вкупе с межтерриториальными параллелями тождественной структуры, возможно соотносить с балтийским обозначением выхухоли, учитывая, что это животное некогда обитало по заросшим берегам Ильменя и что поблизости наличествует древнерусский гидроним *Хохулька*, отражающий диалектное обозначение этого водного зверька. Более того, данное субстратное название приравнивается к древнерусскому не только по семантике этимона, но, вероятно, и по характеру деривации, тоже будучи результатом гидронимизации фаунистического термина, но древнебалтийского.

Справедливости ради, следует сказать, что приильменский субстратный гидроним допускает вместе с тем иное объяснение, еще на более ранней, протобалтийской (древнеиндоевропейской) почве. Он обнаруживает отчетливое структурное сходство с гидронимом *Кормин/Кармин* на Украине, но последний, в свою очередь, возводили к индоевропейской праформе типа **k₁min-/*k₁rmen-*, предположительно производной от индоевропейского наименования червя и обозначающей красный цвет [14]. Речь, следовательно, может идти о древнейшем корне, производные которого с переднерядной вокализацией плавного достаточно широко представлены в языках славян и балтов (ср. др.-рус. *чърмын* “красный”, рус. диал., *черемной*, *чермный* “красный; рыжеволосый”, возводимые к праслав. **čьrmy* “червь” – из **k₁rm-*, к которому также восходят лит. *kirmis*, *kirmiū* “червь”, лтш. *cērme*, *cērmis* “глист” [8]).

В рамках данной трактовки новг. *Кормина/Кормяна* вместе с укр. *Кормин/Кармин*, поочским *Кормянка* представляют раритетную (диалектную?) заднерядную огласовку того же корня, позволяя реконструировать значение “красная (река)”, обычное в номинациях водоемов (скажем, только в Приильменье и Поволховье найдется до десятка *Красных* речек и озер). Обращает на себя внимание параллелизм сопредельных гидронимов бассейна Оки *Кормянка* и *Чермянка*, *Черменка*, – последние, неоднократно фиксируемые (к ним, по каталогу поочских водоемов Г.П. Смолицкой, еще следует добавить *Черменская*, *Черменской*, *Чермая*), связанные с указанием на красный (*чермный*) цвет, создают для единичного *Кормянка* некое подобие семантико-словообразовательного контекста.

Эта, вторая, трактовка приильменского гидронима не подкреплена точными апеллятивными параллелями, является обобщенной в смысловом отношении и поэтому, на наш взгляд, менее предпочтительна, чем первая.

Вторая гидронимическая пара *Загоска – Дегжа* тоже отражает пересечение ономастических древнебалтийских и древнеславянских элементов на побережье Ильменя, фиксируя следующий случай прямой гидронимизации фаунистических обозначений. Первый член пары – *Загоска* – относится к небольшому водотоку в дельте Ловати на южном побережье Ильменя, рукаву озера *Загозино*, обозначенному на плане бывшего Взвядского погоста и приведенному в описании водоемов Старорусского уезда Новгородской губ. [15; 16].

Гидроним равен славянскому апеллятиву – обозначению кукушки: др.-рус. *загоска*, *загостка*, *загозица*, как и рус. диал. (Новг., Пск., Олон., Смол., Ленингр.) [17; 18]. Для данного гидронима в иных местах Русского Северо-Запада обнаруживается несколько безусловных ойконимических параллелей: деревня *Загозко* Опочского погоста Шелонской пятины 1498 г. (= дер. *Жегоска* под 1576 г., уже “пуста”) [9. Т. V. С. 687];

деревня *Загозка* Дягиленского погоста Водской пятины [3. Вып. 1. С. 102]; деревня *Загоска* в Порховском р-не Псковской обл. (на территории бывшего Дубровенского погоста к северо-западу от Порхова, но средневековых сведений об этом пункте нет).

В свою очередь гидроним *Дегжа* (иногда *Догжа*), выступающий вторым членом анализируемой пары, именует соседствующую с *Загоской* протоку в пределах той же ловатской дельты. Название раскрывается благодаря сопоставлению с балтийскими обозначениями кукушки, такими, как литов. *degužė* (в диалектах северо-восточной Литвы), *gegužė*, латыш. *dzeguze*, прус. *geguse*, сюда же название речки *Deguž-ravis* в Литве [19. С. 189; 8. Т. II. С. 91; 20; 12. С. 83]. Межтерриториальными параллелями к приильменскому *Дегжа/Догжа* выступают два псковских гидронима: оз. *Дегжо* в истоках р. Шелони (по этому озеру стал именоваться средневековый *Дегожский* погост, описанный в Новгородских писцовых книгах с конца XV века [9. Т. IV. С. 247 и след.; Т. V. С. 359 и след.]), и озеро *Дегжа* в окрестностях Новоржева.

В сущности, рассмотренные пары *Хохулька* – *Кармяная* и *Загоска* – *Дегжа* могли сложиться в результате гидронимического калькирования. Допустимо считать, что древнерусские водные названия в этих парах появились в результате перевода более ранних древнебалтийских названий с последующим переносом на смежные или сопредельные водные объекты. В любом случае перед нами, во-первых, доказательства давней освоенности побережья Ильмена носителями древнебалтийских диалектов, во-вторых, следы прямых межэтнических контактов балтов и ранних славян на берегах Ильмена.

Литература

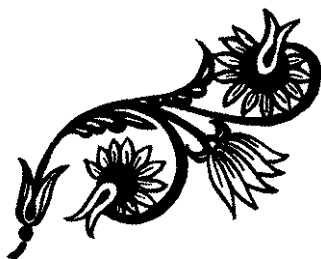
1. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. С. 179–190.
2. Янин В.Л. Новгородские акты XII–XV вв. Хронологический комментарий. М., 1990. С. 228.
3. Писцовые книги Новгородской земли. М., 2004.
4. Списки населенных мест Новгородской губернии. Новгород, 1909. Вып. IV.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998.
6. Герасимов Ю.А. Справочник егеря. М., 1988. С. 36.
7. Новгородский областной словарь. Новгород, 1993.
8. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986–1987.
9. Новгородские писцовые книги, изданные Императорской Археологической комиссией. СПб.; Пг., 1859–1915. Т. II. С. 459.
10. Смолицкая Г.П. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976. С. 32.

11. *Маштаков П.Л.* Список рек Днепровского бассейна. СПб., 1913. С. 142.
12. *Vanagas A.* Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
13. *Либериц А.* Литовско-русский словарь. Vilnius, 1989.
14. *Трубачев О.Н.* Названия рек Правобережной Украины. М., 1968. С. 255.
15. *Чернов С.З.* Историческая география Взвядского погоста // Генезис и развитие феодализма в России. Л., 1985. С. 104–112.
16. *Пылаев В.Д.* Старорусский край (природа и население). Новгород, 1929. С.22.
17. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 5.
18. Словарь русских народных говоров. Л.; СПб., 1965. Вып. 10.
19. *Агеева Р.А.* Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации. М., 1989. С. 189.
20. *Vasmer M.* Balten und Finnen im Gebiet von Pskov // Studi baltici. Roma, 1933. № 3. S. 34.

Великий Новгород

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 05-04-04120а).





Антропонимы в тамбовской топонимии

© А. С. ЩЕРБАК,
кандидат филологических наук

На карте Московского государства до заселения Тамбовского края русскими он был отмечен как *Дикое Поле*. Переехавшие сюда люди были вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни, к новым географическим реалиям. В этом Диком Поле рождались новые социальные коллективы, общины, традиции, а вместе с этим неизбежно – новое сознание.

Отражение фамилии, имени или прозвища в региональной топонимии обусловлено, прежде всего, принадлежностью места определенному человеку и его социальному положению. О том, что личное имя является первоосновой не только антропонимической системы, но и топонимической, говорит тот факт, что самую большую группу топонимов составляют те, в основе которых лежит патроним (имя или фамилия) одного из первых поселенцев, поставившего дом на новой земле, например: *Саюкино, Коптево, Хитрово, Пересыпкино, Гавриловка, Чутановка, Уварово, Чуево* и т.д.

Между тем, топонимы обладают экспрессией и содержат в себе оценку, носящую признание социальной значимости либо заслуг того или иного члена коллектива, в честь которого названо поселение. Таким образом, имя, давшее основу топониму, превращается в своего рода символ, несущий в себе идею старшинства (понятие *старший–младший*).

В связи с изменениями в социальном составе жителей, экономическом укладе существовала и иная традиция именования населенных пунктов. Позднее она становилась доминирующей – в основу топонима ложилось имя или фамилия помещика, владельца села или деревни: *Петровское* восходит к имени владельца, помещика Петра Михайловича Воейкова, *Воронцовка* – владелец граф Илларион Гаврилович Воронцов; *Свиньино* – владелец помещик Степан Парфенович Свиньин.

Будучи основной ономастической единицей, частотное некогда имя становилось производящей основой при образовании топонима: *Иван – Иванково, Ивановка, Вановье, Ваново; Илья – Ильино, Ильиновка; Семен – Семеновка; Степан – Степановка, Степанищево*. Среди них встречаются и ойконимы, восходящие к женским именам, называющим владелиц: *Марьевка, Варварино, Марьинка, Марфинка, Варваринка, Анновка, Мариновка, Анненка, Ольгино, Надеждино*.

При появлении помещиков начинает утверждаться тенденция именования населенных пунктов, в которых бы еще и словесно закреплялось право собственности. Пришло в столкновение коллективное сознание и сознание индивидуальное, возросло желание уничтожить бинарную противопоставленность “мое – не мое”, полностью нейтрализовав второй элемент этой пары. Главным становится убедить, доказать, подтвердить “это – мое (если не принадлежащее мне, то связанное со мной, имеющее отношение ко мне)”.

Подобное можно было осуществить, только используя имя собственное, которое является языковым знаком, относящимся к единичному объекту, в чем и заключается его основное назначение. Именно поэтому отпатронимические топонимы содержат в себе лишь одну оценку – закрепить право на собственность, в то время как другие виды топонимов – отапельлятивные – могут иметь несколько оценочных характеристик.

Между тем, в нашем материале отмечаются составные топонимы, которые, наряду с представлением о владении, отражают различные знания другого характера. В структуре составных топонимов данного типа базовым элементом является антропоним, а зависимый элемент отражает дополнительную информацию о топониме, например: *Дуплято-Масловка* – название села восходит к имени первопоселенца *Дупляты* и фамилии владельца *Маслова*; *Александрово-Павловское* – отражается информация о двух владельцах одной местности; *Покрово-Чичерино, Покрово-Марфино*, данные топонимы свидетельствуют о том, что их первоначальное название восходит к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, вероятно, в честь которого были построены церкви, затем, когда местность стала владением помещика, к ее названию прибавился компонент имени или фамилии (церковь *Покрова + Марфин*, церковь *Покрова + Чичерин*); *Александровские Верхи, Атманов Угол, Кузьмино-Гать* – имя или фамилия первопоселенца или владельца + элементы ландшафта; *Иловой-Дмитриевское, Карай-Пушино, Карай-Салтыки, Ржаксо-Семеновка; Кариан-Строганово, Моисеево-Алабушка, Чуево-Алабушка* – антропоним + местный ориентир (например, название реки).

В последних трех моделях представление о населенном пункте связано с указанием на водный объект, особенность рельефа, которые служат дополнительным источником сведений о расположении местно-

сти. В этом случае осмысление места осуществляется на основе нескольких характеристик понятия *место*, *владение*, т.е., *собственность*, *качество* (свойства местности), *локализованность* в пространстве.

Несмотря на то, что освоение Тамбовского края вылилось в длительный многоэтапный процесс, к которому можно было привыкнуть, посчитать как должное, само собой разумеющееся, тем не менее в сознании жителей Тамбовщины постоянно проходило отделение вновь прибывших *Новичковых*, *Прибытковых*, *Переведенцевых*, *Перевезенцевых*, *Перевозовых*.

Общее название прибывших на новое место жительства могло дать и название самой местности: *Прибытки* (от *прибытчик* – “недавно приехавший откуда-нибудь”), *Новоселки*, *Новосельцево*, *Новосёлок*, *Новая деревня*, *Новопоселенная*, *Новиково* – может восходить и к имени *Новик* или фамилии *Новиков* (от имени или фамилии первопоселенца, либо владельца), а также, возможно, указывает на понятие “новый”, то есть вновь прибывший.

Родовиками (*родовик* – “коренной житель”, тмб.) называли себя самые “старые” жители, то есть старожилы, чувствовавшие себя хозяевами на земле, принявшей новых поселенцев.

Тамбов

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 08-04-70-401-аЦ).



Демонологические существа в прозе Е. Замятина

© И. М. КУРНОСОВА,

кандидат филологических наук

Е. Замятин был одним из тех писателей XX века, который пытался выразить в литературе идею “синтетизма, понятого как поиски целостного сознания, объединяющего мистическое, естественнонаучное, философское и художественное знание о мире, синтез различных видов искусств, а также новое качество литературы, предполагающее синтез направлений, жанров, художественных приемов” [1]. Это новое направление писатель обозначил термином “неореализм”, и “хотя термин родился в начале 1910-х гг., Замятин был первым, кто предпринял попытку дать целостное представление о художественной философии неореализма”, идя по пути “синтеза реалистических и модернистских систем” [2]. Этот путь привел его к “синтезу фантастики и быта” [3], к созданию своего “мифа о России, о современности как реальности абсурдной” [4].

Действительно, многие замятинские герои живут в полуреальном мире, гротескном, драматическом, по-новому сказочном, – мире, населенном самыми разными мифологическими персонажами: это *игрень-конь*, *черти*, *хохлики* (“Алатырь”), *нечистый*, *бес*, *дворовой*, *лешак*, *шутяка* (“Уездное”), *водяной*, *нелюдь* (“На куличках”), *луканька*, *неключимая сила*, *постен*, *шиликун* (“Север”), *окаяшка* (“Письменно”), *анчутка* (“Надежное место”), *пласавица*, *полуденница* (“Полуденница”), *лихоманка* (“Уездное”, “Знамение”, “Чрево”), *родимец* (“Чрево”), *лешебойник*, *чомор* (“Африка”), *шишига* (“Кряжи”) и др. В славянской мифологии *бес*, *водяной*, *домовой*, *кикимора*, *леший*, *русалка*, *черт* и др. были персонажами так называемого низшего мифологического уровня, они постоянно сопровождали человека в его повседневной жизни – в доме, поле, лесу, на воде и т.п. [5] и давно и прочно вошли в русскую речь, существуя в самых разных вариантах в русских народных говорах.

С этими образами связаны представления о том, что демонические существа стремятся причинить вред человеку: они появляются всегда неожиданно, в пустынных, опасных местах и обычно в пограничное время суток – в полдень, в полночь, перед рассветом, после заката и т.д. И замятинские герои зачастую находятся в таких же условиях: они пе-

реживают сильные чувства, доходят до отчаяния, оказываются на грани между жизнью и смертью... Их окружает мистическое, необъяснимое, заставляющее совершать самые неожиданные поступки. А особая замятинская сказовая манера повествования усиливает эффект нереальности событий.

В повести “На куличках” – это сонная, болотная, густая туманная и “хмельная дрема”, когда *“притчится какая-то несуразная нелюдь, и заснуть страшно, нельзя: закружит нелюдь”*. Это “фантазмогоричность современного национального бытия” в повести “Алатырь”, требующая “языка сказки” [6], – с загадочным камнем *алатырем*, о котором в мифологических верованиях славян говорилось: “Под тем камнем сокрыта сила могучая, и силы конца нет” [7], со сказочным образом *игрень-коня, с чертями и хохликами (хохлик – черт, живущий в болоте, или “черт, дьявол или нечистый [польск. chochlik]”* [8. Т. IV. С. 1228.]: “– А по мне, ваше преподобие, самые благочестивые – болотные черти... – А-а-а, это хохлики называемые? – обрадуется протопоп, глаза заблестят. – Шу-устрые этакие, знаю, у-ух!.. – И видимо, знает досконально: даже покажет, какого хохлики росту. И пойдет, и пойдет по хохликов: Ивану Павлычу – только слушай”.

Это гротескное мифологическое сознание персонажей повести “Уездное”, вобравшее в себя образы *беса, черта, лешего* и т.п. Это и *неключимая* (бесовская) *сила*, руководящая поступками героев повести “Север”: “Неключимой силе не переступить светлого круга: прочны, прочнее камня светлые стены”; “А из норки – из плечей – голова так и выныривает, глаза так и скачут – как неключимая сила, и поглаживает сверток ласковенько...”.

В произведениях Е.И. Замятина примеры использования демонологизмов в прямом номинативном значении весьма немногочисленны: например, в повести “Уездное” герои, обратившись за помощью к колдунье Иванихе, идут к ней, страшась встречи с нечистой силой: “Отец Иннокентий робел Иванихи. Перекреститься бы, а перекреститься при ней нельзя, пожалуй: шутяка-то тут, – еще спугнешь, ничего не выйдет” (*шутяка* – нечистый, черт, чертяка). Условно номинативным можно назвать употребление и существительного *дворовой* в той же повести: “– Эй, кто там? – Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?”. Условно – потому, что обращены эти слова к прячущемуся, скрывающемуся, но невольно выдающему свое присутствие на заброшенном дворе Барыбе. Номинативным можно считать и значение существительного *шишига* (черт, леший, нечистая сила) в рассказе “Кряжи”: «Уж далеко отойдут, уж запутается между рыжих стволов белая баска Марьина, тут-то шишига и толкнет: “А ну, оглянуться теперь? Наверно, далеко уж...”».

Демонические существа не являются непосредственными персонажами произведений Е. Замятина, но они постоянно присутствуют в ми-

фологическом сознании его героев, способствуя созданию полуреального мира. Поэтому образное использование демонологической лексики (переносно, в сравнениях, бранно по отношению к человеку) является у писателя преобладающим.

Слова-демонологизмы, используемые в русском языке как бранные по отношению к человеку, Е. Замятин вкладывает в уста своих персонажей, индивидуализируя их речь, сближая ее с народно-разговорной. Так, в рассказе “Надежное место” слово *анчутка* произносит героиня, лишившаяся денег, поддавшись соблазнительным (бесовским, дьявольским) чарам своего попутчика: “Уж так-то, думаю, ни одна собака не найдет [деньги]. А он, анчутка беспятаый, иуда рыжий, вытащил ведь, а!”. В русских народных говорах *анчуткой* называют еще и неряху, грязнулю [9], однако определение *беспятаый* прямо указывает на то, что в данном контексте лексема *анчутка* употреблена в значении “черт, дьявол, бес” (как бранное по отношению к человеку слово) – известно, что образ черта в славянской мифологии обязательно предполагал наличие козлиных или свиных копытцев. В рассказе “Африка” Яуста в отчаянии от постоянных отлучек своего молодого мужа называет его *лешебойником*:

“– Да где же это ты, лешебойник, ходиссии... – днем голосила Яуста” (*лешебойник* – праздно шатающийся человек, ведущий себя подобно лешему). А в рассказе “Чрево” Акимья обращается к своему нелюбимому старому мужу со словами: “– Да на какой ты мне ляд с любовью нужён-то, родимец старый?” (*родимец* – черт, домовый, леший – употреблено бранно по отношению к человеку).

Демонологизмы, используемые в сравнении, также способствуют оценочной характеристике человека, поскольку оценочность заключена уже в негативной семантике самих демонологизмов: *луканька* (лукавый, соблазнитель, бес): “Уж ты, Иван, шут известный: луканька с хвостом” (“Север”), *окашка* (бес, дьявол, черт): “Лицом – черный, волосатый, чисто окашка” (“Письменно”); *постен* (домовой): “Улыбнулся Иван Романыч, сел. Позеленелая ряска, капельный, темноликий: не то постен из поставца вышел, не то Савватий из старого склада” (“Север”); *чомор* (черт, нечистый): “Со всего бега стал Федор Волков, как чомором помраченный” (“Африка”) и т.д.

В подобных сравнениях образ, вызванный демоническим персонажем, мог переходить на сопоставляемый с ним объект, и тогда слово получало новое, переносное значение. Так, детей *Кикиморы* – недоброго духа, поселявшегося в чьей-либо крестьянской избе, называли в народе *Шиликунами* (или *Шуликунами*, *Шулюканами*, *Шликунами*). *Кикимора* отличалась беспокойным, неуживчивым нравом, который передавался и ее детям. *Шиликуны* не упускали случая напасть на людей, и мало кто мог с ними справиться – с этими существами маленького роста и с конскими копытами на ногах [10. С. 38]. По поверьям, рождались

Шиликуны на Святки, носили они домотканые кафтанчики и остроко-
нечные шапки, и этот образ перешел на святочных ряженных, которых
в народе стали называть также *шиликунами*. Ср. у В.И. Даля: “*шил-
икун* – вят., прм., сиб., *шилику́н* – вят., камч., сиб. (Опыт) – нечистый
дух, черт // злой, домовый // наряженный о святках, окрутник, ряженный,
харя” [8. Т. IV. С. 1434]. Это существительное, возможно, образовано от
др.-слав. *шуй* – “левый, плохой, нечистый” с двойным суффиксом *-ик* и
ун [11]. М. Фасмер *шуликун, шуликон, шуликун* – “святочный ряже-
ный” – связывает с *шулуган, шульхаться* (возможно, того же корня):
шулуган – “шалун, повеса” (олонец.), *шульхаться* – “болтаться” (оло-
нецк.) [12. Т. IV. С. 484–485].

У Замятина в одном контексте соединены оба значения данного сло-
ва – и “бес”, и “святочный ряженный”: “Откуда-то из печки, как святоч-
ный бес-шиликун, вышарахнул приказчик Иван Скитский... – А я зав-
тра все расскажу мужу! А я завтра... шу-у... му-ужу... – шуршит ши-
ликун в ухо” (“Север”). В первом предложении существительное
шиликун употреблено в сравнении: субъект действия – приказчик, на
которого переносится образ *беса-шиликуна*. Во втором предложении
субъектом действия выступает уже только *шиликун* – и непонятно, то
ли приказчик шепчет эти слова Пельке, грозя рассказать обо всем ее
мужу, то ли бес “шуршит в ухо”.

Подобный синтез нескольких значений в семантике одного слова,
употребленного в художественном тексте, встречается у Е. Замятина
довольно часто: это, например, *чомор* – “черт, бес” и “яд растения”
(рассказ “Африка”: “Со всего бега стал Федор Волков, как чомором по-
мраченный”) – и неясно, “помрачен” Федор Волков то ли бесом, то ли
ядом слов Яусты; это *шут* – шутник, “паяц, клоун, потешник” и “нечи-
стый, черт” [8. Т. IV. С. 1488]: “Уж ты, Иван, шут известный: луканька
с хвостом” (“Север”).

Оба значения существительного *шут* возможны как в приведенном
контексте, так и в контексте всего повествования: Марей, который ад-
ресует эти слова Ивану Скитскому, может называть его и шутником
(считая шуткой его слова об измене своей жены), и нечистым, бесом,
чертом, тем более, что к словам *шут известный* Марей добавляет *лу-
канька с хвостом* (*луканька* – от *лукавый*, т.е. бес-соблазнитель); это и
плясавица, речь о которой пойдет чуть дальше. Такое совмещение раз-
личных значений в семантике конкретного словоупотребления, созда-
ющее полуреальные, полумистические образы, – один из художествен-
ных приемов, “работающих” на заявленную Е. Замятиным идею “син-
теза фантастики и быта”.

Существительное *кикимора*, закрепившееся в славянской мифоло-
гии в значении “домовой, который по ночам прядет; днем сидит неви-
димкою за печью, а проказит по ночам, с веретеном, прядкою, вороба-
ми и вьюшкою” [8. Т. II. С. 267], послужило основой для образования в

русском языке новых демонологизмов. *Кикимора*, как полагает А.Н. Афанасьев, – русское прочтение французского слова *cauchemare*. “По мнению немцев, – пишет он, сонного человека давит и трясет *nachtmar* (англ. *night-mare*) или *alp*; а французы называют его *cauche-mare* (*soche-mar*)... Слову *cauchemare* соответствует русское *кикимора* или *ишши-мора* – имя сложное, и первая половина его доселе употребляется в областных наречиях в отдельной, самостоятельной форме: *ишии* – домовый, бес, *ишишко* – нечистый дух, *ишишига* (*ишишиган*) – домовый, злой дух и праздношатающийся человек, шатун... Вторая часть – *мора* (*мара*, *марухи*) – маленькие старые существа женского пола... – отождествляются с *кикиморами*” [13. С. 100–101]. Аналогичным образом объясняет происхождение существительных *ишшишмора*, *ишии*, *ишишига*, *ишишко* М. Фасмер [12. Т. IV. С. 444–445]. У Замятина: “Уж далеко отойдут, уж запутается между рыжих стволов белая баска Марыина, тут-то ишишига и толкнет: “А ну, оглянуться теперь? Наверно, далеко уж...” (“Кряжи”).

С семантикой указанных слов связаны и другие названия черта в русских народных говорах: *шат* (от *шататься*, *шатун*), *шут* (от *шутить*) – ср. известные в народе выражения: а *шут* (*шат*) его знает, ну его к шуту, *шут* (*шат*) его возьми (*побери*) и др. – так “говорят благовоспитанные люди, когда не хотят сказать “черт его возьми” [8. Т. IV. С. 1488]. От существительного *шут* образовалось *шутяка* – по аналогии с *черт* – *чертяка*. У Замятина: “Отец Иннокентий робел Иванихи. Перекреститься бы, а перекреститься при ней нельзя, пожалуй: шутяка-то тут, – еще спугнешь, ничего не выйдет” (“Уездное”).

Еще один мифологический образ – образ *Лихоманки* – закрепился в русском языке в составе фразеологического сочетания: *лихоманка заберет* (о заболевании лихорадкой). У Замятина: “В особой коробушке – с десяток корамор сушеных – первое средство против лихоманки, кто же этого не знает: корамора укусит – заберет лихоманка, – сушеной же кораморой и вылечишься” (“Полуденница”). Миф о *Лихорадках* (или *Лихоманках*) – тощих и злобных крылатых сестрах, дочерях царя Ирода, – был хорошо известен на Руси. С ним были связаны представления о различного рода заболеваниях: “отсидев положенное время глубоко под землей, вылетали голодные страшные посланницы ада на белый свет и вслед за вешней водой, прячась за дождями и туманами, разлетались в разные стороны, с жадностью набрасываясь на людей” [10. С. 24]. Поэтому и говорили на Руси: “Лихорадка (лихоманка) заберет”. “*Лихоманка* – от *лихо* и *манить*, т.е. “манящая, привлекающая зло (лихо)” – ср.: *лихоманить* – “причинять зло, наносить вред” [12. Т. II. С. 505]. В.И. Даль, называя *лихоманкой* “переменную лихорадку”, а также “общее воспаленное состояние крови”, указывает на то, что в народе известно сорок ее видов, каждый из которых имеет свое название [8. Т. II. С. 665–666].

Младшую из сестер называли *Трясовицей* (*Трясицей*, *Трясучкой*, *Трясуницей*, *Тресухой*, *Трясцей* и др. – от глагола *трясти*) [13. С. 465; 8. Т. II. С. 666]. Это слово стали употреблять в русских народных говорах не только в случае болезни человека, но и тогда, когда человека лихорадило, трясло в ознобе от страха, переживания и т.п. У Замятина: “Взял Иванюша Афимью за руку – и затрясла его трясовица Афимья: стоят и трясутся” (“Чрево”).

Старшая сестра – *Невея*, *Огнеястра* – в народе называлась еще *пласавицей* – ради нее “отсечена была голова Иоанну Предтече; она всех проклятее, и если вселится в человека – он уже не избегнет смерти” [13. С. 465]. В русских народных говорах существительное *пласавица* известно еще и в значении, далеком от этого демонологического образа: “девушка, которая умеет плясать и много пляшет” [14. Т. 9. С. 1476]. В небольшом рассказе Е. Замятина “Куны” пономарь Африканыч, обращаясь к Марьке, “запевале, певунье”, “первой затейнице да задорнице”, “гордой царевне” в кунном хороводе, говорит: “Развитная больно! Пласавица. Из-за вас этаких Илья и дождя не дает. Куда? Али на русалочий хоровод?”.

Кажется, что именно в этом прямом значении – “плясунья” – использует применительно к Марьке существительное *пласавица* Е. Замятин, однако мы понимаем, что жжет Марьку огонь любви, молится она у “Спасова образа” одновременно “с жаркой любовью и с ненавистью”, “и такие у ней губы – жадные, сухие, раскрытые, как трещина в бездождной земле”, и “кому-то в ответ хочется сделать злое и сладкое”, “потешиться... замучить, зашекотать по-русалочки – все равно, кто ни попадись по дороге...”; “Погубит себя девка, – говорит Африканыч. – А девка-то какая: я-те-дам – девка-то, во!” (“Куны”). Пляшет в душе у Марьки *пласавица*, невольно требуя жертвы.

Этот рассказ – часть неоконченной повести Е. Замятина “Полуденница”, героиней которой является Маринка, ставшая затем в “Кунах” Марькой. Сюжетные рамки повести раздвигают кунный хоровод, и знаем мы, что влюблена Маринка (именно ее назвал Е. Замятин полуденницей) в отца Виктора, страсть ее подобна иссушающему зною, огню, который сжигает ее и заставляет быть *полуденницей*: “– Ага! – и опять она становится полуденницей, часто дышит и шепчет, наклоняясь все ближе: – По ночам... за стеной, рядом... целовать, обнимать тебя...” (“Полуденница”). Здесь семантика существительного *пласавица* (и нейтральная – “плясунья”, и связанная с демонологическим образом) накладывается на семантику существительного полуденница, вынесенного в заглавие произведения. *Полуденница* (*полудница*) – один из наиболее древних образов в мифологических представлениях разных славянских народов: “у чехов и словаков – “*polednice*”, у поляков – “*poludnica*” или “*poludniowka*”, у лужичан – “*pripoldnica*, у словенцев – “*poludnica*” [15. С. 340]. Согласно поверьям, *полуденница* может прини-

мать самые разные образы: это и высокая старая женщина пугающей внешности с серпом в руках [16], и красивая высокая девушка в белом одеянии, и женщина-получеловек с чертами животных [15. С. 341].

Название *полуденница* (*полудница*) семантически связано с солнцем, которое в полдень наиболее активно, и потому в славянской мифологии этот полевой дух является часто воплощением солнечного удара [17]. Полагают, что появлялось это существо в устрашение человеку, работающему в самый полдень, и тогда *полуденница* насылала на него солнечный удар. Часто *полуденницей* пугали детей, так как она, по поверьям, еще и оберегала хлебные посевы от детей, бездумно бегающих по полю. У Замятина: “Желтые, горячие поля исходят сухим зноем. Вьются над полями бесстыдные полуденницы, шевеля ноздрями, как собаки, втягивая знойный, вещающий грозу воздух” (“Полуденница”).

Образным воплощением солнечного удара становится Маринка в жизни отца Виктора: “Нельзя смотреть – это первое – и поднимает на нее отец Виктор глаза: прямо перед ними – ярая полуденница, пышет, губы раскрыты”. Ее же, Маринку, *полуденницу*, называет Е. Замятин и *плясавицей*: “– Сама ты эх! Развзятая больно! Непутевая. Плясавица”. И тогда соединяются в одном образе оба “демонологических” значения: и существительного *полуденница*, и существительного *плясавица*: превращается “любовь-страсть” Маринки (*полуденницы-плясавицы*) в “жестокую, пылающую”, “жуткую”, “враждебную человеку дьявольскую силу, разрушающую человека” [18].

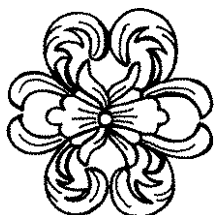
Таким образом, демонологические персонажи, являясь частью мифологического сознания русского народа, еще раз убеждают нас в том, что “художническая индивидуальность Е.И. Замятина складывалась под сильным влиянием народных нравственно-философских представлений о добре и зле, любви и ненависти, жизни и смерти в русле традиций национальной культуры, ее духовных и эстетических идеалов” [19].

Литература

1. Шишкина Л.И. Е. Замятин и Л. Андреев: типологические параллели // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Книга XIII. Тамбов – Елец, 2004. С. 33.
2. Лейдерман Н.Л. Глубина простоты (Евгений Замятин и его рассказ “Наводнение”) // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Книга XII. Тамбов, 2004. С. 83–84.
3. Замятин Е.И. Избранные произведения. М., 1990. С. 430.
4. Хатямова М.А. Становление экзистенциальной парадигмы в творчестве Е.И. Замятина и проблема художественного метода //

- Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Книга XI. Тамбов, 2003. С. 57.
5. Зуева Т.В. Русский фольклор. Словарь-справочник. М., 2002. С. 100.
6. Хатямова М.А. Орнаментальный сказ Е.И. Замятина: эстетика и поэтика // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Книга XII. Тамбов, 2004. С. 222.
7. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1–3. М., 1865 – 1869. Т. 2. С. 142.
8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998.
9. Словарь воронежских говоров. Вып. 1, 2. Воронеж, 2004–2007. Вып. 1. С. 39.
10. Русский народный календарь / О.В. Третьякова, Н.В. Тверитинова. М., 2007.
11. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 394.
12. Фасмер М.Ф. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1971.
13. Афанасьев А.Н. Мифология Древней Руси. М., 2006.
14. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. М.-Л., 1950 – 1965.
15. Русская мифология. Энциклопедия / Под ред. Е. Мадлевской. М.-СПб., 2007.
16. Ивченко А.А. Демонологические персонажи во фразеологии верхне-лужичского языка // Славянские языки и культура. Языковые средства и способы кодировки культурных знаний. Тула, 2007. С. 40.
17. Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб, 1994. С. 318.
18. Комлик Н.Н. Философия духа и тела в русской культуре и творчество Е. Замятина // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Книга XI. Тамбов, 2003. С. 13.
19. Полякова Л.В. Е.И. Замятин как классик русской литературы. К проблеме соотношения “литературных рядов” // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. Книга XII. Тамбов, 2004. С. 22.

За знакомой строкой



Замашный и посконный

© В. В. КРАСНЯНСКИЙ,
кандидат филологических наук

У Бунина в рассказе “Мелитон” встречаем: “На ногах Мелитона лыковые лапти, думал я, на теле замашная рубаха... Как это чудесно – жить такой чистой, простой, бедной жизнью!” [1. Т. 2. С. 206]. Постоянным мотивом в творчестве И. Бунина является поэтизация простой, первобытной, “дикой”, “библейской” жизни, которую он видит и в Палестине, и в Индии, и в русской деревне: поэтизация крестьянского быта среди прочего наблюдается и в деталях одежды, при этом главная деталь – *замашная рубаха*. Из двух лексем-синонимов выбирается именно *замашный*, как слово, свободное от отрицательных коннотаций, как слово крестьянское, наилучшим образом способное нести экспрессивный ореол с положительной оценкой.

Крестьянский быт описывается И. Буниным в деталях, в разных рассказах и повестях изображается какая-либо стадия сбора и обработки конопли. Например, в рассказе “Древний человек”: “Сипят кузнечики в бурьяне на припеке. Все сохнет, роняет черные зерна: крапива, белена, репы, подснежник. Баба, в красной юбке, в белой рубахе, стоит в чаще конопляников выше ее ростом, берет замашки” [1. Т. 3. С. 206].

В рассказе “Антоновские яблоки”: “Когда, бывало едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками” [1. Т. 2. С. 184].

Положительную оценку разных персонажей несет в себе эта деталь – *замашная рубаха*, и экспрессией положительной оценки сопровождается употребление *замашный* в разных рассказах. Главный герой рассказа “Захар Воробьев” – могучий, добрый и простодушный, красивый

русский крестьянин: “Он вообще был склонен к старине. Ворот его суровой замашной рубахи, всегда чистой, не застегивался, а завязывался маленькой красной ленточкой. На пояске висел медный гребень и копаушка” [1. Т. 4. С. 36].

С *замашной рубахой* нередко связывается представление о просто-народной, “первобытной” женской красоте. Например, в рассказе “Последняя весна”: “Старик сидит на лавке и вяжет веревочные лапти. Мирное, смиренное, ласковое лицо: – Доброго здоровьица, господа хорошие. – Синеглазая Анютка, с полнеющей грудью под замашной рубахой, работает с матерью за ткацким станом” [1. Т. 4. С. 426]. В эмигрантском кратком рассказе “Полдень” дается ностальгически притягательная картина-воспоминание – эпизод дореволюционного деревенского дня: “Пригнали в охвостье пруда, стоят в воде по брюхо. Рядом радостный визг, крик, хохот – раздеваются и бросаются в воду девки. Одна через голову сорвала с себя серую замашную рубаху и кинулась так дико, что я тотчас вспомнил Нил, Нубию. Черноволосая и очень смугла телом. Грудь – как две темных тугих груши” [1. Т. 5. С. 441].

Итак, *замашный* в преобладающей части случаев употребляется с контекстуальным ореолом положительной экспрессии, хотя встречаются и обычные нейтральные употребления слова – как обозначения только реалии крестьянского быта: в повести “Деревня” бабы стирают свои “серые замашные рубахи”, в той же повести приbedняющийся мужик Яков непременно “в замашной рубахе” и т.д. Между тем *посконный* используется главным образом как нейтральное обозначение, но в тех контекстах дореволюционных произведений, когда речь идет о нищете, грязи, неопрятности, “нецивилизованности” деревенского быта, из двух слов-синонимов выбирается именно *посконный*. В повести “Деревня”: “<...> лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши” [1. Т. 3. С. 93]; “От ветхого бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой” [Там же. С. 112]. В рассказе “Ермил”: “<...> обдергивал свою бессменную посконную рубаху и становился на молитву, врозь раскинув носки сопревших лаптей” [1. Т. 4. С. 52].

У И. Бунина употребительны и *посконный*, и *замашный*, и оба слова используются в одной и той же сочетаемости с определяемым словом: *замашная рубаха (рубашишка), посконная рубаха (рубашонка)*. Используется одно и то же значение у обеих лексем: “сделанный из замашного (посконного) холста”. Полисемия, стилистические и эмоционально-экспрессивные коннотации лексем в русском языке остаются как бы “за кадром”, но тем не менее влияют на характер бунинского словоупотребления.

Обращает на себя внимание то, что из тринадцати употреблений Буниным *замашный* одиннадцать выпадает на художественные тексты до 1919 года, а два – на эмигрантский период творчества. Иная картина в

использовании лексемы *посконный*: из девяти употреблений пять выпадает на художественные тексты до 1919 года, четыре – на эмигрантский период. Это косвенное свидетельство того, что *замашный* осознается Буниным как слово крестьянское, устаревающее в литературном языке и малопонятное эмигрантскому читателю, и в поздних произведениях оно постепенно вытесняется синонимом.

В целом же *посконная (замашная) рубаха* – постоянный у И. Бунина знак крестьянского быта русской деревни средней полосы России. Показателен такой обобщающий контекст в “Жизни Арсеньева”: “Для глаза, привыкшего только к хлебам, травам, проселкам, дегтярным телегам, курным избам, *посконным* рубахам, для уха, привыкшего к тишине, к пенью жаворонков, к писку цыплят, кудахтанью кур <...> всё [в церкви] казалось царственным, пышным, торжественно восхищало душу...” [1. Т. 4. С. 41].

И. Бунин никогда не использует *посконный* в тех значениях с отрицательной оценочностью, которые существуют в русской литературной и диалектной речи, у него представлена лишь тонкая градация двух лексем, учитывающая сложившиеся в языке полисемию слов и стандарты употребления.

Замашный и *посконный* на протяжении всего XIX века употребляются как синонимы в значениях “сделанный из мужской особи конопли, т.е. из замашек, или *поскони*” и “сшитый из замашного, или *посконного*, холста”. Толковые словари XX века опускают слово *замашный*, но сохраняют *посконный*. Исключение – БАС, который в 1-м и во 2-м издании отражает лексему *замашный*, известную по классической русской литературе, следуя своему определению хронологических рамок современного языка – “от Пушкина до наших дней”. *Посконный*, хотя и сохраняется во всех словарях, но толкуется по инерции так же, как и применительно к текстам XIX века: “сделанный из *поскони*, мужской особи конопли” и “сшитый из *посконины*, т.е. *посконного* холста”. Но в языковом сознании современного человека нет представления о производстве одежды из *поскони*, как и самих слов *посконь*, *посконина*. Слово *посконный* используется в современном языке в обобщенно-оценочном значении (“какая-то *посконная* одежда!”), которое можно определить так: “сшитый из грубого, домотканого материала”.

Восприятие этих двух слов, несмотря на полное тождество основных значений, было, очевидно, различно в XIX веке. Характерно, что Д. Мамин-Сибиряк использовал в романе “Приваловские миллионы” только *замашный* (2 употребления) [2], *посконный* отсутствует. У Л. Толстого в “Войне и мире” напротив: используется только *посконный* (2 употребления), *замашный* отсутствует [3]. Во всех текстах Ф. Достоевского встречается только *посконный* (13 употреблений), *замашный* также отсутствует [4]. В художественных текстах И. Бунина используются обе лексемы: *замашный* (13 употреблений) и *посконный* (9 упо-

треблений). Различия связаны, конечно, с индивидуальными предпочтениями, с языковыми привычками бытовой речи писателей, но не только с этим: влияет история, семантическая структура слов, различные стилистические и эмоционально-экспрессивные коннотации, характер распространенности слов в речи. Поэтому попытаемся суммировать те сведения об этих двух словах, что можно извлечь из словарей.

Замáшный (замáшинбй, замáшковый) – слово собственно-русского происхождения. Отражается в “Словаре русского языка XI–XVII вв.”: “Четыри рубашки оленых <льняных>, да четыре замáшных”; “Пятеры портки: четверы олянные <льняные>, а пятые замáшковые”. – Южно-великорус. письм., 1593 г.” [5. Вып. 5. С. 237]. В. Даль возводит *замáшный* к *замáшки* (или *замáшка*) и помещает оба слова в гнездо *замахи-вать* [6]. В справке о фиксации в словарях БАС [7] почему-то опускает словарь В. Даля в словарной статье *замáшный* (указывается в 1-м издании только “Опыт областного словаря Академии наук” 1852 года [8. Т. 4], а во 2-м издании прибавляется “Словарь русского языка XI–XVII вв.”) [7. 2-е изд. Т. 6], хотя упоминает в словарной статье *замáшка*. В. Даль так объясняет образование и внутреннюю форму слова *замáшка*: “*Замáшка* – бесплодная (мужская, пыльниковая) конопля, дёрганцы, посконь (раз., тул., орл.), также замáшки, мн. Замáшкой зовут и посконную пряжу и самый холст. Эта конопля стоит выше и метелка ее машет туда и сюда, от ветру”. И далее: “*Замáшный* или *замáшковый*, спряденный или сотканный из замáшки, т.е. посконный” [6. Т. I]. В другом месте В. Даль несколько иначе объясняет внутреннюю форму слова *замáшка*: “Скорее вырастающие стебли [конопли], видные издали, содержат цветки с одними тычинками и пыльниками и называются по́сконью; их выдергивают в ясную и теплую погоду, чтобы цветень разлетался вокруг для оплодотворения, причем нарочно машут стеблями по воздуху, отчего по́сконь и называется также замáшкой” [7. 2-е изд. Т. 6].

В связи с этим любопытно замечание писателя Б. Зайцева по поводу комментария к рассказу И. Тургенева “Хорь и Калиныч”. Проживший уже почти полвека в эмиграции во Франции, вдаль от России, Б. Зайцев не преминул возразить одному из редакторов полного собрания сочинений И.С. Тургенева, издававшегося Институтом русской литературы АН СССР: “<...> в примечаниях к “Хорю...” сказано, что “замáшки” – это ткань из конопли. “Замáшки” – разновидность конопли, это наверно знаю, с детства. Если не ошибаюсь, какие-то стебли ее, не дающие цветения, так сказать, бесплодные (или бесполое?). Тут не ручаюсь, но не материя” [8. Т. II. С. 235]. Речь идет о следующем контексте тургеневского рассказа: «В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности “замáшки”, – важное распространение и усовершенствование промышленности “орлов”» [9. Т. 3]. “Орлы” – скупщики, разъезжающие по деревням. В тургеневском рассказе бабы “крадут у самих себя”, так как, продавая пень-

ку, т.е. вымоченные и толченые стебли женской конопли, и замашки, т.е. вымоченные и толченые стебли мужской конопли, лишают себя более выгодного для крестьянского хозяйства изготовления из замашек холстов, которые шли на рубахи, портки и другую одежду, и изготовления из пеньки различной домашней обуви. Б. Зайцев, уже не помня все детали собирания и использования конопли в крестьянском обиходе, чутко реагирует на языковую неточность у комментаторов. Как фиксирует в своем словаре В. Даль, словом *замáшка* называют и стебель мужской конопли, и пряжу из нее, и холст, сделанный из этой пряжи. Более распространенная в речи форма множ. числа *замáшки* использовалась для называния стеблей мужской конопли (“берет замашки в коноплянике”) и для обработанных стеблей, волокон мужской конопли (“сбывают замашки”), но не для обозначения сотканного из замашек холста (он назывался по-разному: *замашинина*, *пóсконь*, *поскóнка*, *замáшинный холст*, *замáшковый холст*, *замáшка*).

Та же неточность повторяется и усугубляется (смешиваются два вида конопли) в более позднем комментарии В.Б. Катаева в издании избранных соч. И.С. Тургенева в серии “Библиотека учителя”: “Замашки – грубый домотканый холст или пряжа из волокон конопли” [10. С. 642]. Применительно к тургеневскому контексту слово *замашки* следовало бы истолковать: “пряжа, волокна, полученные после обработки стеблей мужской конопли”. Обращает на себя внимание тургеневская стилистическая оценка слова: *замашки*, как и *орлы* (скупщики), дано в вычках как нелитературное, крестьянское слово.

Замашинный не отражается не только в словарях литературного языка XX века, но и во многих словарях редких слов, построенных на текстах XIX века. Слово фиксируется в диалектных словарях, хотя ограничить его распространение каким-либо регионом затруднительно. В “Словаре русских народных говоров” (СРНГ) по отношению к *замашка* и *замашинный* отмечаются следующие области и регионы: *Курск.*, *Орл.*, *Тул.*, *Брян.*, *Воронеж.*, *Волог.*, *Влад.*, *Заволж.*, *Иркут.*, *Забайк.*, *Терск.* [11. Вып. 10]. Если и осознавалась диалектность слова, распространение его носит междиалектный характер.

В диалектах *замашинный* используется также лишь в двух значениях: 1) относящийся к пряже, сделанной из замашек; 2) относящийся к холсту, сделанному из этой пряжи. В словообразовательное гнездо, кроме *замашки* и *замашинный*, входят *замашинина* и *замáшиница*. *Замашинина* – грубая ткань из замашки. *Замáшиница* – 1) толкач, пест для разминания замашек на толчее; 2) толчая, где разминают замашки; 3) женщина, привезшая на толчею замашки [11. Вып. 10. С. 237].

С иным местоположением ударения фиксирует лексему “Словарь русского языка XVIII в.” – *замашинóй*: “<Посконь> выдергивают, когда оцветет, и приготавливают для прядения ниток на холст посконной и <или?> замашинной” [12. Вып. 8. С. 14].

Посконный – слово восходит к *посконь* общеславянского происхождения в значении “мужская конопля”. Это убедительно доказывает М. Фасмер аналогиями из славянских языков, возводя к праславянскому **poskonь* [13. Т. III]. Длительная история слова *посконный* приводит к тому, что, кроме двух первых значений, совпадающих с теми, что отмечаются у *замашный*, оно развивает множество переносных значений, которых нет у *замашный*.

“Словарь русского языка XI–XVII вв.” фиксирует значение “изготовленный с помощью добавления конопляных нитей” в тексте XVII века: “Десять холстов ольняных посконных – цена 7 рублей (Арх. Курак., IV, 1699 г.)” [5. Вып. 17]. У лексемы *посконь* происходит расширение объема семантики, когда она используется в значении “конопля”, вслед за этим и у *посконный* появляется значение “конопляный” в сочетании *посконная каша*, каша из жмыхов, остающихся после выдавливания масла из семян конопли, т.е. женской особи конопли: “Холщовая рубашка – не нагота, а посконная каша – не голод (Сим. Послов. 148, XVII в.)” [5. Вып. 17].

В XVII веке появляется и переносное оценочное значение у *посконный* в сочетании *посконная борода*, которое толкуется как бранное выражение с неопределенной семантикой: “Поди же скажи посконной бороде (Д. Шакловит., I, 162, XVII в.)” [5. Вып. 17]. Впрочем, такое сочетание фиксируется в говорах и без оценочной семантики – “светлая или седая взлохмаченная борода – Тамб., Соболевский” [11. Вып. 30. С. 167].

Элемент отрицательной оценки имплицитно присутствует и в фиксируемом в смоленских говорах сочетании *посконная матушка* – “неродная, названная мать” [Там же]. В. Даль приводит сочетание *посконные оборки*, встречающееся в сибирских говорах с оценочным значением “оборванец, неряха” [6. Т. III].

Все эти эмоционально-экспрессивные коннотации у *посконный* естественным образом завершаются обобщенно-оценочным значением: “Куда нам с посконным рылом в суконный ряд! С посконной рожей да в красные ряды” (В. Даль). *Посконная рожа*, *посконное рыло*, *посконный мужик*, *посконное мужичье*, *посконный ряд* – в этих сочетаниях проявляется то значение, которое толкуется в БАС таким образом: “презрительное наименование низкого сословия или людей такого сословия”. Социальная оценка, отражающая точку зрения некрестьянского сословия, не могла выражаться в говорах. Но отрицательная оценка в семантической структуре слова имела и в диалектах. Об этом свидетельствуют бранные употребления слова *посконь* в нескольких значениях: “1) хлам, негодные вещи, дрянь”: “Такую посконь и в руки не возьму”; “2) пакость, гадость”: “Посконь какая, сырые-то яйца”; “3) негодяи, мерзавцы”: “Когда с посконью разделились, то в артели все стали дружно жить” [11. Вып. 30. С. 167].

Для Ф. Достоевского, жителя городского и бытописателя городской жизни, были неактуальны исходные значения лексемы *посконный*, преобладающим у него является оценочное значение: “– Ну кто же, скажите, из всех подсудимых, даже из самого посконного мужичья, не знает, что его, например, сначала начнут посторонними вопросами усыплять” (Преступление и наказание).

В современных словарях редких слов обычным является толкование, заимствованное из какого-либо общего словаря русского языка (чаще всего из словаря В. Даля или БАС), и иллюстративный контекст из художественного произведения XIX века, который далеко не всегда хорошо соотносится с этим толкованием. В такого типа словарях, конечно, необходимо объяснение характера употребления в иллюстрации: ведь читатель нередко усваивает и запоминает редкое слово именно в индивидуальном преломлении какого-либо контекста русской классической литературы.

Литература

1. Бунин И.А. Собр. соч. В 9 т. М., 1965–1967.
2. Генкель М.А. Частотный словарь романа Д.Н. Мамина-Сибиряка “Приваловские миллионы”. Пермь, 1974.
3. Частотный словарь романа Л.Н. Толстого “Война и мир”. Тула, 1978.
4. Шайкевич А.Я., Андрющенко В.М., Ребецкая Н.А. Статистический словарь языка Достоевского. М., 2003.
5. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975.
6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955.
7. Словарь современного русского литературного языка. В 17 т. М.-Л., 1949–1965; изд. 2-е, М., 1991.
8. Зайцев Б. Собр. соч. Письма. 1923–1971. М., 2001.
9. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. М., 1978.
10. Тургенев И.С. Избр. соч. М., 1987.
11. Словарь русских народных говоров. Л.-СПб., 1965.
12. Словарь русского языка XVIII в. Л.-СПб., 1984.
13. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971.

Орехово-Зуево,
Московской обл.

“ПОЛНЫЙ ГЛАМУР”

© С. Г. МИХЕЙКИНА,
кандидат филологических наук

Слова, используемые журналистами в заголовках, позволяют обнаружить языковой пласт, не привлекавший ранее к исследованию в ассоциативных и частотных словарях, но пользующийся популярностью в речевой практике носителей русского языка.

К таким словам относится *гламур*, пришедшее из английского, где оно обозначает “чары, волшебство; романтический ореол, обаяние; эффектный”. У нас это оценочное понятие (оценка при этом может быть как положительной, так и отрицательной в зависимости от взглядов говорящего), означающее близость к общепринятым стандартам “роскоши”, “шикарного”, “внешне блестящего”.

Средства массовой информации вот уже 10 лет эксплуатируют это слово. Первый заголовок “Я планов наших люблю гламурё” мы встретили в газете “Русский Телеграф” за 1998 год. Ныне *гламур* прекрасно себя чувствует на страницах печати, расширяет потенциал лексической сочетаемости, удивляет способами реализации своей семантики и используется для привлечения читательского внимания. Электронная база Парк.ги предлагает вниманию 234 страницы ссылок на *гламур* в СМИ, что только для беглого просмотра требует нескольких часов.

Первыми на *гламур* откликнулись газеты “Коммерсант”, “Независимая газета”, “Ведомости” (2001). Единичные заголовки “Гламур и Психея” (Ведомости.2001.18 июня), “Гламур повседневности” (Коммерсант. 2001.25 апр.) еще не предвещали повального шествия “знаменосцев гламура”. “Московский комсомолец” подключился к пропаганде данного социального явления только через год: “Гламур, амур и накладные ногти” (2002.4 сент.). Пик “популярности” заголовка со словом *гламур* пришелся на 2007 год. И вот уже даже “Правда” ведет “журналистское расследование”: “Гламур – слово-паразит или новая идеология?” (Правда. 2007. 27 июня).

Опустим моральную сторону воздействия СМИ на читателей. Попробуем разобраться в системных связях интересующей нас лексической единицы. А с точки зрения функционирования слова в языке именно СМИ обнажают скрытый потенциал его лексической сочетаемости.

Какой бывает гламур, судя по публикациям? Безобразный, белый, в извращенной форме, всеильный и победительный, душеспаситель-

ный, коричневый, крутой, литературный, мертвый, многопудовый, московский, натуральный, остросоциальный, под взбитыми сливками, по-деревенски, под копирку, подозрительный, полный, российский, русский, свежий, сдержанный, скромный, с мужским лицом, спортивный, столичный, ТАТУированный, театральный, термоядерный, уездный, уличный, хоккейный, хорошо переваренный, цветочный.

Гламур часто выступает синонимом глянца, в заголовках рифмуется со словом *амур*, дает производные: *антигламур*, *гламурьё*, *прагламур*, *пригламурить*, *ретро-гламур*. Гламур можно зажечь, замочить, обломать, в нем можно утонуть, примерить на вырост, бросить под поезд.

Самым частотным заголовком со словом *гламур* является "Полный гламур" (Газета. 2006.4 апр.; Россия. 2006. 29 мая; Известия. 2008. 20 февр.). Данный заголовок также отражает самую распространенную конструкцию, после которой идут "Гламур + имя существительное в предложном падеже": "Гламур в стразах и дырках" (Известия. 2007.14 дек.); "Гламур в избушке" (Известия. 2005. 19 сент.) и "Гламур – это ...": "Гламур – это вредно" (Новые Известия. 2006. 17 июля); "Гламур и глянец – это мир тотальной несвободы" (Известия. 2007. 13 апр.); "Гламур – это смерть" (Правда. 2008. 31 марта).

Так и хочется сказать: "Гламур всегда, гламур везде!" /А вот у французов в старину гламуром называлась специальная вуалетка, скрывающая прыщи и недостатки кожи лица. Это так, к слову.